



ДОМ  
НА  
ЧЕРНОЙ ПРОТОКЕ

ТАИСИЯ ЗАРЕЦКАЯ

Таисия Зарецкая  
**Дом на Черной протоке.**

«Автор»

2026

## **Зарецкая Т.**

Дом на Черной протоке. / Т. Зарецкая — «Автор», 2026

После смерти последней хозяйки рода Вельяминовых-Заболотских в северную усадьбу съезжаются наследники, почти не знающие друг друга. Среди них — московский психиатр Евгения Лихачёва, следователь Платон Воронцов-Кольцов, реставратор Мирослава Оболенская, журналист Герман Трубецкой-Резанов и странная девочка-подросток Таисия, которую покойная неожиданно указала в завещании как главную наследницу. Чем глубже герои погружаются в историю усадьбы, тем яснее становится: проклятие может оказаться не мистикой, а тщательно скрытым преступлением, которое много поколений прикрывали семейной гордостью, молчанием и страхом. И кто на самом деле говорит из темноты — мёртвые, память или тот, кто до сих пор использует древний ужас как оружие? «Дом на Чёрной протоке» — атмосферный мистический триллер о старой усадьбе, семейной тайне, родовом преступлении, где самое страшное прячется не в призраках, а в людях, которые умеют красиво лгать.

© Зарецкая Т., 2026

© Автор, 2026

## Содержание

Пролог	5
Глава 1	13
Глава 2	22
Глава 3	31
Глава 4	42
Глава 5	51
Глава 6	62
Конец ознакомительного фрагмента.	68

# Таисия Зарецкая

## Дом на Черной протоке.

### Пролог

В ту ночь, когда Варвара Илларионовна Вельяминова-Заболотская наконец позволила смерти войти в свою спальню, дом понял это раньше всех. Раньше врача, за которым так и не послали в уездный посёлок. Раньше нотариуса, спавшего в тёплой городской квартире и хранившего запечатанное завещание. Раньше дальних родственников, чьи имена уже были выведены на плотной бумаге с водяными знаками и которые ещё не знали, что наследство, оставленное им старухой, окажется не даром, а приглашением в ловушку.

Старинная усадьба на берегу Чёрной протоки не отпускала своих хозяев даже тогда, когда они умирали, уезжали, меняли фамилии, забывали семейные портреты и уверяли себя, что больше не имеют к этому месту никакого отношения. Дом помнил всех. И в ту ночь, когда в спальне Варвары Илларионовны погас последний свет, в его стенах будто проснулось то, что слишком долго ждало своего часа.



Северная зима стояла неподвижно, глухо и строго, как стоит у смертного ложа человек, не знающий, можно ли ему уйти или он обязан досмотреть всё до конца. Снег лежал на крыше усадьбы тяжёлыми складками, в оконных рамах густела синева, в саду, где когда-то подстригали липовые аллеи и устраивали августовские чаепития, теперь торчали чёрные, промёрзшие ветви, похожие на письма, которые никто из живых уже не умел читать. Ветер не выл, не бился в ставни, не метался по углам, как это бывает в дурных рассказах, придуманных для того, чтобы пугать детей; он только медленно тянулся вдоль стен, касался карнизов, заползал в щели старого дерева и будто прислушивался к тому, что происходит внутри.

А внутри дом дышал так тихо, что его дыхание можно было принять за работу старых труб, за оседание половиц, за привычное поскрипывание балок, давно привыкших держать на себе не только тяжесть потолков, но и тяжесть чужой памяти. Вельяминовская усадьба была построена не для счастья, хотя когда-то, возможно, её и пытались назвать семейным гнездом; в её пропорциях было слишком много достоинства, в коридорах — слишком много тени, в высоких дверях — слишком много молчаливого превосходства над теми, кто входил и выходил, надеясь, что человек вправе сам решать, где начинается и где заканчивается его судьба. Дом терпел это заблуждение с холодным великодушием старого свидетеля.

В спальне Варвары Илларионовны горела лампа с зелёным абажуром, и её приглушённый свет ложился на обои, на спинку кровати, на резные ножки комода, на узкие руки старухи,

лежавшие поверх одеяла с тем спокойствием, которое бывает не у людей, примирившихся со смертью, а у тех, кто слишком долго оттягивал встречу и теперь уже не видит смысла притворяться, будто ещё можно договориться. Ей было восемьдесят семь лет, но в лице её не было мягкой старческой расплывчатости; даже болезнь, высушившая щёки и заострившая нос, не смогла отнять у неё породистой суровости, той самой, которую в старых семьях иногда принимают за благородство, хотя в действительности она чаще бывает привычкой сдерживать ужас, стыд и любовь с одинаково безупречным выражением.

У изголовья сидела Дарья Фоминична, старая прислуга, давно уже не прислуга в настоящем смысле слова, а скорее последний человек при доме, который ещё помнил, как здесь открывали парадные залы на Рождество, как присылали из города живые цветы к именинам хозяйки, как Варвара Илларионовна ходила по лестнице в тёмно-синем платье, не касаясь перил, и все молодые женщины в округе смотрели на неё с той завистью, которая рождается не от красоты, а от недоступности. Теперь Дарья Фоминична сидела на краешке кресла, поджав ноги в валенках, и в её старом лице было не только горе, но и упрямое напряжение человека, которому поручили нечто важное, но не объяснили до конца, как именно это исполнить, когда придёт нужная минута.

— Священника позвать, Варвара Илларионовна? — спросила она уже третий раз за вечер, хотя прекрасно знала ответ и, может быть, потому спрашивала снова, что надеялась услышать не его, а какой-нибудь другой, более человеческий, более понятный, такой, после которого можно было бы послать мальчишку в посёлок, растопить вторую печь, поставить воду, сделать хоть что-нибудь из обычного перечня действий, которыми живые прикрываются перед лицом смерти.

Варвара Илларионовна открыла глаза не сразу. Ресницы у неё были почти белыми, прозрачными от старости, но взгляд, когда он наконец поднялся из глубины болезненной дремоты, остался ясным, жёстким и удивительно трезвым. Она посмотрела на Дарью Фоминичну так, словно та задала не вопрос о священнике, а повторила старую ошибку, которую в этом доме совершали поколениями.

— Не священника, — сказала она, и голос её был слаб, но не спутан. — Дверь.

Дарья Фоминична нахмурилась, не поняв или сделав вид, что не поняла, потому что иногда непонимание бывает последней защитой простого человека перед тем, чему он не хочет давать места в своей жизни.

— Какую дверь, матушка?

Варвара Илларионовна чуть повернула голову к окну. За стеклом была темнота, плотная, непрозрачная, с той особой северной глубиной, в которой даже снег кажется не белым, а прозрачным, будто мир снаружи давно стёрли, оставив только общие очертания деревьев, флигеля, ворот и дороги к протоке. Если долго смотреть в такую темноту, можно было поверить, что она не находится за окном, а медленно прижимается к нему снаружи, изучая щели, примеряясь к стеклу, терпеливо ожидая, когда в доме наконец назовут её по имени.

— Парадную, — ответила Варвара Илларионовна. — Не запирай сегодня. Она придёт.

Дарья Фоминична перекрестилась, быстро и неловко, так, будто боялась не Бога, а хозяйкиного взгляда, который мог остановить даже это движение.

— Кто придёт, Варвара Илларионовна? Ночь на дворе. Метёт. Да и кому сюда идти?

На этот раз старуха усмехнулась, и в этой усмешке было столько усталой горечи, что Дарья Фоминична почувствовала, как у неё стянуло кожу между лопатками.

— Девочка, — сказала Варвара Илларионовна. — Та, которая ещё не знает, что возвращается домой.

В комнате стало тише, чем прежде. Не потому, что стих ветер или лампа перестала едва слышно потрескивать, а потому, что некоторые слова обладают странным свойством отнимать у пространства право на обычные звуки. Дарья Фоминична знала, что у Варвары Илларио-

новны не было детей, что все племянники, внучатые племянники, троюродные родственники и прочие люди с длинными фамилиями существовали где-то вдали, в Москве, Петербурге, за границей, в собственных квартирах, браках, карьерах и обидах, вспоминая о старой родственнице только тогда, когда надо было поставить подпись, получить справку, спросить о деньгах или не спросить ни о чём, потому что так было проще. Девочки в этом доме не было давно. По-настоящему давно. Так давно, что о последней девочке Дарья Фоминична слышала только от своей матери, а та — от своей, и даже там, в пересказах, имя её произносили неохотно, словно оно могло испачкать язык.

— Вы о ком это? — спросила она тише, чем хотела.

Варвара Илларионовна не ответила. Её взгляд снова ушёл к окну, но теперь она, кажется, смотрела не на темноту, а сквозь неё, туда, где за садом, за занесённой дорогой, за старой каменной оградой лежала Чёрная протока. Вода там не замерзала даже в январе, и никто в посёлке давно уже не пытался объяснять это родниками, течением, особенностью грунта или ещё чем-нибудь разумным, потому что разумные объяснения, если их повторять слишком часто, начинают звучать как заклинания, а заклинания выдают страх сильнее любого признания.

Варвара Илларионовна помнила эту воду девочкой. Она помнила, как её, шестилетнюю, подвели к берегу гувернантка и мать, как мать держала её за плечо слишком крепко, хотя говорила спокойно, почти ласково, и как на другом берегу чернел ольшаник, такой густой, будто за ним уже начинался не лес, а совсем другая страна, куда уходили те, о ком в семье предпочитали не говорить. Ей тогда сказали, что к воде нельзя подходить одной, потому что зимой протока обманывает глаз, а весной забирает тех, кто слишком близко наклоняется посмотреть на своё отражение. Мать произнесла это с воспитательной строгостью, но Варвара уже тогда, ребёнком, услышала в её голосе не заботу, а просьбу: не смотри туда, не спрашивай, не замечай того, что мы сделали с собой и с другими.

Потом было много лет, и каждое десятилетие приносило свои смерти, свои объяснения, свои аккуратно составленные медицинские заключения, свои письма с траурной каймой, свои запреты на разговоры после ужина. В роду Вельяминовых-Заболотских умели умирать прилично, без крика, без разоблачений, без вульгарной грязи скандала; несчастные случаи случались вовремя, болезни развивались с достойной скоростью, самоубийства назывались нервными истощениями, а исчезновения — отъездами за границу, после которых почему-то не приходило ни одного письма. Снаружи всё это складывалось в историю старинной семьи, пережившей революции, войны, конфискации, ссылки, возвращения и советскую серость, но внутри, под лакированной поверхностью родословных таблиц, жила другая история, написанная не чернилами, а водой.

Варвара Илларионовна знала её не всю. В этом и заключалась главная жестокость: семейные тайны редко передаются целиком, их передают частями, намёками, предметами, испугом в глазах старших, внезапной паузой за столом, запретом открывать определённый шкаф, привычкой не произносить имени женщины, которая давно умерла, но почему-то продолжала присутствовать в доме плотнее многих живых. В юности Варвара пыталась узнать больше и была наказана молчанием. В зрелости она сама стала частью этого молчания, потому что так было удобнее, безопаснее, благороднее, если пользоваться языком её матери и бабки. В старости, когда большинство людей начинает бояться смерти, она вдруг обнаружила, что боится не смерти, а того, что умрёт последней и заберёт с собой не тайну, а возможность исправления.

За стеной едва слышно застонала древесина. Дарья Фоминична вздрогнула, но Варвара Илларионовна не шелохнулась; она знала все звуки дома и умела отличать обычное старческое поскрипывание полов от тех редких, почти незаметных перемен, когда усадьба будто переставала быть архитектурой и становилась телом. Внизу, в парадной анфиладе, где уже много лет

не принимали гостей, что-то тихо щёлкнуло. Потом ещё раз, дальше, как если бы невидимая рука проверяла запоры одну за другой.

— Это ветер, — сказала Дарья Фоминична, но сказала слишком быстро.

— Нет, — ответила Варвара Илларионовна. — Это дом проверяет, все ли мы на местах.

Старуха у кресла зажмурилась на мгновение, потому что такие слова не хотелось слышать из уст умирающей хозяйки, особенно в ночь, когда стены казались ближе, чем обычно, и даже зелёный круг света от лампы не разгонял тьму, а только делал её более терпеливой.

На туалетном столике напротив кровати стояло большое овальное зеркало в тяжёлой бронзовой раме. Днём Дарья Фоминична по привычке закрыла его тёмной шалью, как закрывали все зеркала в доме с тех пор, как Варвара Илларионовна окончательно слегла, но ткань сползла с одного края, и теперь в узкой открытой полосе отражалась часть комнаты: край кровати, зелёный свет, белая сухая рука хозяйки и тёмный провал окна за её плечом. Отражение выглядело не вполне верным, будто зеркало сохраняло небольшое запоздание, как старый человек, который слышит вопрос, но отвечает на тот, что был задан давно.

Варвара Илларионовна заметила это и вдруг напряглась.

— Закрой, — сказала она.

Дарья Фоминична послушно поднялась, подошла к столику и поправила шаль, но в ту самую секунду, когда её пальцы коснулись ткани, по стеклу изнутри прошла тонкая белая трещина. Она возникла не от удара, не от нажима, не от холода, потому что в комнате было тепло; она просто появилась, как появляется морщина на лице человека, который слишком долго сдерживал одно и то же выражение. Затем от первой трещины потянулась вторая, третья, и через мгновение по зеркалу расплзлась едва заметная сетка, похожая на лёд, который схватывает воду не сверху, а из глубины.

Дарья Фоминична отдёрнула руку и прижала её к груди.

— Господи помилуй.

Варвара Илларионовна закрыла глаза. На её лице не было удивления. Скорее облегчение, страшное именно тем, что оно было ожидаемым.

— Началось, — прошептала она.

И тогда из коридора донёсся звук, от которого Дарья Фоминична почувствовала, как холод пробрался под кофту, под кожу, в самую сердцевину старых костей. Это были шаги. Медленные, влажные, почти осторожные, словно кто-то шёл босиком по тёмному паркету, оставляя после себя не эхо, а лёгкое липкое прикосновение воды. Шаги двигались не к спальне, как можно было бы ожидать, а мимо неё, дальше, к лестнице, к портретной галерее, к детскому крылу, давно закрытому после последнего ремонта, который так и не был закончен, потому что рабочие отказались оставаться в доме ночевать.

Дарья Фоминична, забыв о возрасте, бросилась к двери, распахнула её и выглянула в коридор. Там никого не было. Только на тёмных досках пола блестели следы босых ног, маленьких или женских, и каждый след был влажным, чёрным по краям, будто вода, принесённая в дом, была не снегом, не талой протокой, а чем-то более старым, пролежавшим в темноте много лет. Следы тянулись от лестницы вниз, хотя никто не мог войти в дом незамеченным: парадные двери были заперты, чёрный ход засовом закрыт изнутри, а окна первого этажа давно затянул морозный узор.

— Не ходи за ней, — сказала Варвара Илларионовна из комнаты, и голос её, ставший неожиданно твёрдым, заставил Дарью Фоминичну остановиться. — Никогда не ходи за ней, если она сама не обернулась.

— Да кто она-то? — в отчаянии спросила Дарья Фоминична, всё ещё глядя на мокрые следы, которые уже начинали темнеть, впитываясь в старый пол. — Матушка, кто?

Но Варвара Илларионовна молчала слишком долго, и когда Дарья Фоминична вернулась к кровати, она увидела, что хозяйка смотрит уже не в окно и не на зеркало, а куда-то в пустоту

перед собой, как смотрят люди, перед которыми в последнюю минуту открывается не будущее и не прошлое, а нечто гораздо более мучительное — настоящий смысл собственной жизни, увиденный слишком поздно.

— Её звали Агафья, — сказала она наконец. — Но в нашем доме её имя вычеркнули так аккуратно, что потом все решили, будто его никогда не было.

Дарья Фоминична знала это имя. Не знала истории, не знала лица, не знала, кем Агафья приходилась дому и почему память о ней жила не в портретах, не в письмах, не в церковных книгах, а в шёпоте, которым старые женщины на кухне обрывали разговор, когда в комнату входил кто-нибудь из господ. Но имя она знала, и оттого, что Варвара Илларионовна произнесла его вслух, в спальне словно сдвинулось что-то невидимое. Лампа мигнула. В растрескавшемся зеркале под шалью тихо хрустнуло стекло, будто трещины продолжали расти в темноте.

— Вы мне скажите, что делать, — прошептала Дарья Фоминична, и в её голосе теперь была не прислуга, не старая женщина при умирающей, а ребёнок, который остался один в доме, где взрослые слишком долго лгали друг другу.

Варвара Илларионовна с трудом повернула руку. Пальцы у неё были скрючены, но она всё ещё сжимала что-то в кулаке. Дарья Фоминична наклонилась и осторожно разжала её ладонь. На сухой коже лежал клочок белой ткани, старой, почти истлевшей по краям, с бурым потемнением, которое не отстиралось бы уже никакой водой. Ткань была холодной, как будто её только что достали из снега или из глубокой сырости подвала.

— Положишь это в конверт, — сказала Варвара Илларионовна. — Не в тот, что у нотариуса. В другой. Для Евгении Аркадьевны.

— Для кого?

— Лихачёвой. Она врач. Ей легче будет сначала не поверить.

Старуха почти улыбнулась, и в этой слабой, болезненной улыбке мелькнула прежняя Варвара Илларионовна — женщина, которая привыкла рассчитывать людей, их слабости, их страхи и даже их добродетели с точностью шахматиста, много лет играющего не ради победы, а ради отсрочки неизбежного поражения.

— А девочке? — спросила Дарья Фоминична. — Ей что?

Варвара Илларионовна закрыла глаза, и по её лицу прошла тень боли, уже не телесной, а той, что приходит к человеку, когда он понимает: некоторые долги невозможно вернуть лично, можно только передать другому право потребовать расплаты.

— Ей — дом, — сказала она. — И правда, если выдержит. Только не сразу. Сначала они все должны приехать.

— Кто все?

— Те, кто считает, что кровь — это право. Те, кто забыл, что кровь бывает и виной.

Дарья Фоминична не поняла всего смысла этих слов, но поняла достаточно, чтобы не спрашивать дальше. Она прожила при Вельяминовых-Заболотских почти шестьдесят лет и знала: в старых семьях самые страшные вещи редко называют прямо, их обставляют так, будто речь идёт о наследстве, приличиях, документах, фамильной чести, хотя на самом деле где-то под этими словами всегда лежит человек, которого однажды решили не считать человеком.

Снизу донёсся новый звук, на этот раз резче: будто тяжёлая дверь медленно открылась и ударилась о стену. Дарья Фоминична подняла голову. В доме после этого стало не громче, а, наоборот, так тихо, что она услышала, как у Варвары Илларионовны сбивается дыхание.

— Парадная, — прошептала она. — Я же заперла...

— Теперь нет, — сказала Варвара Илларионовна.

Дарья Фоминична хотела возразить, сказать, что не может быть, что засов тяжёлый, что ключ у неё в кармане, что ни один живой человек не откроет эту дверь снаружи, но всё это были слова для дневного времени, для кухни, для разговоров с почтальоном и фельдшером.

Ночью, в старом доме, где умирающая хозяйка сжимала в ладони кусок чужого платья, а зеркала трескались изнутри, такие слова становились беспомощными и почти неприличными.

Варвара Илларионовна вдруг потянулась к ней, и Дарья Фоминична наклонилась так низко, что почувствовала сухой горячий запах болезни, лекарств, старого льна и лаванды, которой когда-то перекладывали бельё в шкафах.

— Не бойся мёртвых, — сказала Варвара Илларионовна едва слышно. — Мёртвые хотя бы уже не притворяются.

Эти слова оказались последними, сказанными ясно. После них дыхание старухи стало прерывистым, лицо заострилось ещё сильнее, будто смерть, подойдя наконец вплотную, начала стирать с него всё лишнее, оставляя только главную линию характера. Дарья Фоминична держала её руку и шептала молитву, путаясь, сбиваясь, возвращаясь к началу, потому что страх мешал памяти, а память в эту ночь и без того была полна чужих имён.

Когда всё закончилось, не случилось ничего такого, что в обычном рассказе назвали бы чудом или ужасом. Лампа не погасла. Стены не дрогнули. За окном не возникло лицо. Варвара Илларионовна просто перестала дышать, и в комнате воцарилась та особенная пустота, которая остаётся после смерти человека, слишком долго удерживавшего вокруг себя волю, порядок и тайну. Дарья Фоминична сидела ещё несколько минут, не двигаясь, потому что не могла заставить себя отпустить руку хозяйки, хотя эта рука уже начинала быстро остывать.

Потом она всё-таки поднялась, накрыла лицо Варвары Илларионовны простынёй, аккуратно, почти нежно, как накрывают лицо не госпожи, а последнего свидетеля. Она хотела выйти за фельдшером, за Ферапонтом Егоровичем, за кем угодно из живых, кто мог бы подтвердить, что смерть произошла, что теперь надо звонить, писать, оформлять, открывать шкаф с документами, доставать траурное платье и делать всё, что полагается делать, когда мир ещё продолжает притворяться управляемым.

Но у двери она остановилась.

На паркете у порога спальни лежал новый мокрый след. Один-единственный, маленький, тёмный, направленный не внутрь комнаты, а наружу, словно кто-то всё это время стоял рядом с умирающей Варварой Илларионовной, дослушал её последние слова и теперь ушёл по коридору дальше, туда, где за лестницей, портретами и закрытым детским крылом дом хранил то, что не позволял вынести ни нотариусам, ни священникам, ни наследникам.

Дарья Фоминична медленно дошла до окна и выглянула наружу. Парадная дверь действительно была приоткрыта. На крыльцо намело снега, но следов на нём не было, ни человеческих, ни звериных, только у самой нижней ступени темнела узкая влажная полоска, будто кто-то провёл по камню мокрым подолом.

Далеко за садом, где начиналась Чёрная протока, в темноте что-то светлело. Может быть, туман. Может быть, лунный отблеск на воде. Может быть, женщина в белом платье, стоявшая неподвижно у берега и смотревшая на дом так, как смотрят не на место, куда хотят войти, а на место, из которого слишком долго не могли выйти.

Дарья Фоминична перекрестилась уже не торопливо, а медленно, с каким-то обречённым уважением к тому, что происходило, и только потом вернулась к постели, взяла клочок белой ткани, завернула его в чистый лист и спрятала в конверт, на котором дрожащей рукой написала имя незнакомой женщины из Москвы: «Евгении Аркадьевне Лихачёвой. Передать лично».

Она ещё не знала, что через несколько дней в дом приедут люди с длинными фамилиями, уставшими лицами, скрытыми обидами и собственными версиями правды. Не знала, что девочка по имени Таисия, увидев усадьбу, побледнеет так, будто узнала не стены, а давний сон. Не знала, что следователь Платон Воронцов-Кольцов найдёт в архиве папку своего отца, а реставратор Мирослава Оболенская под слоем поздней краски откроет лицо, которое не должно было сохраниться. Не знала и того, что журналист Герман Трубецкой-Резанов, при-

ехавший за чужой тайной, сам однажды будет молить, чтобы найденная им запись оказалась подделкой.

Она знала только одно: Варвара Илларионовна умерла, но дом после её смерти не опустел. Он, напротив, будто наконец дождался тех, кого собирал много лет.

## Глава 1

### Письмо с чёрной печатью

Письмо пришло в тот день, когда Москва с утра казалась не городом, а серой, усталой декорацией к чужой жизни: мокрый снег лежал на подоконниках грязными складками, машины внизу шли по Садовому кольцу медленно, будто каждая из них несла на себе личную тяжесть декабря, а в кабинете Евгении Аркадьевны Лихачёвой было так тепло и сухо, что эта внешняя сырость воспринималась почти нереальной, как мутное изображение за стеклом, к которому не хотелось подходить слишком близко. Она сидела за письменным столом, просматривая записи после последней консультации, и пыталась восстановить в памяти интонацию пациентки, которая на протяжении пятидесяти минут говорила о браке, одиночестве и страхе состариться рядом с человеком, давно переставшим быть близким, но никак не могла произнести главного слова, словно оно лежало у неё под языком тяжёлой монетой.



Евгения любила этот момент после сеанса, когда кабинет ещё хранил чужое присутствие, но человек уже ушёл, дверь закрылась, и можно было не отвечать, не отражать, не поддерживать мягким наклоном головы хрупкое равновесие другого, а просто сидеть в тишине, позво-

ляя словам осесть и отделиться от эмоций. За годы работы она привыкла к тому, что человеческая боль редко выглядит эффектно. Чаще всего она приходит в виде неопрятных фраз, повторов, бытовых подробностей, странных пауз, слишком ровного голоса, улыбки не к месту или жалобы на бессонницу, за которой, если слушать достаточно внимательно, вдруг обнаруживается целая жизнь, прожитая не по своей воле. Евгения умела слушать. В этом была её профессия, её гордость и, как она всё чаще начинала подозревать, её ловушка.

На столе рядом с раскрытой тетрадью стояла чашка остывшего чая, лежали очки в тонкой оправе, несколько ручек, телефон, выключенный на время приёма, и маленькая фигурка птицы из тёмного дерева, которую ей когда-то подарила пациентка с благодарностью за то, что «вы научили меня не бояться собственной головы». Евгения тогда улыбнулась, приняла подарок, поставила его на край стола, а потом долго не могла решить, имеет ли право держать в кабинете вещь, напоминающую о чужом выздоровлении, потому что в её работе выздоровление никогда не было линейным, окончательным и чистым. Человек мог выйти из кабинета с ясными глазами, мог написать через год благодарное письмо, мог завести семью, сменить работу, перестать принимать лекарства, а потом однажды не выдержать того, что не выдерживал раньше, и все красивые формулировки о внутренней опоре, контакте с собой и праве на жизнь рассыпались бы, оставляя после себя только вопрос, который невозможно ни записать в карту, ни обсудить на супервизии без привкуса личного поражения: где именно ты не услышала?

Звонок домофона прозвучал резко и неуместно, словно в тихую ткань кабинета проткнули булавку. Евгения подняла голову, посмотрела на часы и нахмурилась: до следующего пациента оставалось почти сорок минут, курьерских доставок она не ждала, а знакомые знали, что без предупреждения к ней не заходят. Она сняла трубку, услышала внизу неразборчивый мужской голос, произнесший что-то о заказном письме, и почти машинально нажала кнопку, хотя в тот же миг испытала странное, ничем не обоснованное нежелание впускать в подъезд человека с конвертом.

Это чувство было слишком слабым, чтобы принимать его всерьёз, но достаточно отчётливым, чтобы она заметила его профессиональной частью сознания. Тревога без предмета, сказала бы она пациенту, если бы тот описал подобное. Возможно, усталость. Возможно, ассоциация. Возможно, память тела, которая иногда узнаёт опасность раньше разума, но чаще ошибается, потому что в прошлом слишком долго жила рядом с болью. Евгения не любила мистифицировать внутренние реакции. Она доверяла фактам, структуре, клиническому наблюдению, языку, в котором страх переставал быть туманом и становился симптомом, переживанием, защитой, следствием травмы. И всё же, пока лифт поднимался на её этаж, она продолжала смотреть на дверь так, будто за ней стоял не почтальон, а событие, уже начавшееся где-то далеко и теперь только добравшееся до Москвы в виде плотного конверта.

Почтальон оказался обычным: мужчина лет пятидесяти с покрасневшими от холода пальцами, в серой куртке, с планшетом для подписи и выражением лица человека, который давно перестал интересоваться содержанием чужих отправлений. Он протянул ей конверт, попросил расписаться, не поднимая глаз, и ушёл почти сразу, оставив после себя запах улицы, мокрой шерсти и табака. Евгения закрыла дверь, вернулась в кабинет и только там внимательно посмотрела на письмо.

Конверт был не современный, не из тех белых, тонких, безличных, которые приходят из банков, клиник или государственных учреждений; он был плотный, кремовый, с едва заметной волокнистой фактурой, словно бумагу выбирал человек, для которого письмо ещё оставалось вещью, имеющей вес, температуру и характер. В правом верхнем углу стояли штампы, в левом — её имя и адрес, написанные чужим аккуратным почерком. Не напечатанные. Именно написанные. «Евгении Аркадьевне Лихачёвой». Ни сокращения, ни ошибки, ни привычного равнодушия канцелярской рассылки. На обороте, там, где клапан был заклеен, темнела круглая печать — не сургучная, как в старых романах, а современная восковая имитация, но цвет её

был настолько глубоким, почти чёрным, что Евгения невольно провела большим пальцем по выпуклому рисунку.

Герб она узнала не сразу. Два зверя, скорее львы, чем псы, держали щит с неровной линией, похожей то ли на реку, то ли на трещину. Над щитом — корона или стилизованная башня, под ним — лента с девизом, который на крошечном отпечатке разобрать было невозможно. Она смотрела на этот знак дольше, чем требовалось, и постепенно из глубины памяти начал подниматься не сам образ, а ощущение: тёмный буфет в чужом доме, старинная серебряная ложка, запах холодного воска, женский голос, произносящий длинную фамилию с такой осторожной гордостью, будто фамилия была не словом, а фамильной драгоценностью, которую нельзя брать грязными руками.

Вельяминовы-Заболотские.

Евгения не произнесла фамилию вслух, но от её немого звучания в кабинете словно стало прохладнее. Она села, положила конверт перед собой и некоторое время не вскрывала его, хотя прекрасно понимала нелепость этой задержки. В её жизни род Вельяминовых-Заболотских существовал как неясная, почти мифическая ветвь семейной памяти, слишком дальняя, чтобы иметь практическое значение, и слишком тяжёлая, чтобы быть совсем выдуманной. Мать Евгении, Аркадия Павловна, когда-то говорила о них с раздражением, в котором смешивались презрение и зависимость: «Старинная фамилия, старинные скелеты, старинная привычка считать, что все остальные должны молчать». Потом разговоры прекращались. Отец, если слышал эту фамилию, уходил в другую комнату или начинал искать очки, хотя очки обычно лежали у него на груди. В детстве Евгения не придавала этому значения; дети быстро учатся распознавать закрытые двери в речи взрослых и редко стучат в них слишком настойчиво, если за дверью вместо ответа раздаётся тишина.

Она вскрыла конверт ножом для бумаг, стараясь не повредить печать, и эта собственная аккуратность показалась ей странной. Внутри лежали два листа. Первый был официальным: уведомление от нотариуса о смерти Варвары Илларионовны Вельяминовой-Заболотской, последней владелицы усадебного дома в Архангельской области, и приглашение прибыть к назначенной дате для оглашения завещания, в котором Евгения Аркадьевна Лихачёва, как следовало из документа, была указана среди лиц, имеющих отношение к наследственному делу. Формулировки были сухими, юридически ясными и потому почти успокаивающими; смерть превращалась в набор обстоятельств, дат, номеров, полномочий, печатей, и в таком виде её можно было поместить в папку, передать специалисту, отложить, обсудить, не впуская в себя.

Второй лист был вложен отдельно. Бумага отличалась от нотариальной: тоньше, старше, с легким желтоватым оттенком по краям. На нём было всего несколько строк, написанных, судя по неровности букв, слабой рукой, но с той же воспитанной точностью, в которой чувствовалась не дрожь старости, а привычка к самоконтролю, пережившая тело.

«Евгения Аркадьевна.

Вы врач, и потому сначала не поверите. Это хорошо. В нашем доме всегда слишком дорого стоила готовность верить семейным словам.

Но если Вы всё же приедете, запомните: лечить придётся не человека, а память.

Не доверяйте тому, что дом покажет первым.

В. И. Вельяминова-Заболотская».

Евгения перечитала записку три раза, и с каждым разом смысл строк не прояснялся, а, наоборот, становился плотнее, как туман, в котором знакомые очертания начинают казаться незнакомыми не потому, что исчезли, а потому, что их слишком много. «Вы врач, и потому сначала не поверите». Это могло быть красивой фразой старой женщины, склонной к театральности, могло быть попыткой создать интригу, могло быть симптомом угасающего сознания, поздней подозрительности, бредовой структуры, спрятанной под благородной синтаксической тканью. Евгения знала, как убедительно умеет звучать болезнь, особенно у людей образован-

ных, привыкших мыслить метафорами и связывать разрозненные события в изящную, страшную систему. Но именно это знание не успокоило её, потому что в записке не было хаоса. В ней была направленность. Прицельность. Варвара Илларионовна не просила помощи, не жаловалась, не обвиняла, не пыталась вызвать жалость. Она как будто передавала инструкцию человеку, которого не знала лично, но выбрала заранее.

Евгения откинулась на спинку кресла и медленно выдохнула. За стеной, в соседнем кабинете, где принимала детский невролог, кто-то тихо засмеялся, потом раздался голос ребёнка, требующий у мамы обещанную наклейку. Жизнь продолжалась с той грубой естественностью, с какой она всегда продолжается рядом с чужими смертями, и это несоответствие вдруг показалось Евгении почти оскорбительным: за окном шли машины, пациенты приходили и уходили, чай остывал, календарь напоминал о супервизии в пятницу, а у неё на столе лежала записка от женщины, принадлежавшей к той части семейной истории, которую все старательно обходили, как тёмное пятно на ковре в доме, где принято говорить только о погоде и здоровье.

Она взяла телефон, включила его и увидела несколько сообщений, напоминания, пропущенный звонок от администратора клиники, но не открыла ничего. Вместо этого нашла в контактах мать. Палец завис над именем «Аркадия Павловна», и Евгения неожиданно ясно представила себе их будущий разговор: мать сначала сделает паузу, потом скажет, что не стоит вмешиваться в старые дела, потом назовёт Варвару Илларионовну «женщиной с тяжёлым характером», потом, если Евгения будет настаивать, раздражённо добавит, что никакого отношения к этому дому они давно не имеют. И во всех этих словах будет та же осторожная плотность, какую Евгения всю жизнь слышала в семейных умолчаниях, когда взрослые говорили не для того, чтобы объяснить, а для того, чтобы закрыть.

Она всё-таки позвонила.

Мать ответила не сразу. В трубке несколько секунд звучали гудки, потом щёлкнуло, и Евгения услышала знакомый голос, чуть сухой, с той усталой собранностью, которую Аркадия Павловна сохраняла даже дома, словно жизнь была заседанием, где не следовало показывать лишних чувств.

— Женя? Что-то случилось?

Вопрос был обычным, но в нём уже звучала тревога. Матери всегда узнают не событие, а интонацию до того, как человек успеет произнести новость.

— Мне пришло письмо, — сказала Евгения. — От нотариуса. Умерла Варвара Илларионовна Вельяминова-Заболотская.

На другом конце стало тихо. Не та короткая тишина, когда человек ищет в памяти имя, а более глубокая, мгновенно настороженная, будто упавшая между ними фамилия была предметом, который нельзя было поднимать голыми руками.

— Понятно, — наконец сказала Аркадия Павловна.

— Ты знала, что она жива?

— Разумеется, знала. Она была старая, но не исчезнувшая.

— Почему ты никогда о ней не говорила?

Мать тихо вздохнула, и Евгения увидела её почти физически: сидит у окна в своей квартире, поправляет очки, смотрит не на улицу, а куда-то мимо, выбирая не правду, а степень допустимого раскрытия.

— Потому что говорить было не о чем.

— Меня вызывают на оглашение завещания.

— Не езжай.

Ответ был слишком быстрым. В нём не было ни удивления, ни вопроса, ни попытки понять, что именно написано в документе. Только запрет, резкий и некрасиво обнажённый, как нерв.

— Почему?

— Потому что это не наша история.

— Если меня указали в завещании, значит, каким-то образом наша.

— Юридически, может быть. По крови — в дальнем смысле. По здравому смыслу — нет.

Евгения посмотрела на записку Варвары Илларионовны. «Лечить придётся не человека, а память». Ей вдруг стало неприятно от того, насколько точно эта фраза уже начала действовать: не успев узнать ничего, она оказалась внутри семейного сопротивления, внутри старой защиты, которая включалась не аргументами, а инстинктом.

— Мама, кто она мне?

Аркадия Павловна помолчала.

— Двоюродная тётка твоей бабушки по материнской линии, если тебе нужна схема. Слишком дальняя родня для чувств и достаточно близкая для неприятностей.

— Что за неприятности?

— Женя, ты взрослая женщина, у тебя работа, пациенты, нормальная жизнь. Не надо ехать на край света из-за старой дамы, которая всю жизнь умела втягивать людей в свои спектакли.

— Она написала мне лично.

— Тем более.

— Что это значит?

Голос матери стал тише.

— Это значит, что она до последнего осталась собой.

Евгения провела пальцем по краю листа, чувствуя, как бумага слегка царапает кожу. В её кабинете всё было знакомым: полки с книгами, кресла, мягкий плед для пациентов, лампа, растение на подоконнике, которое упрямо выживало, несмотря на московскую зиму. Но теперь эти вещи казались расставленными не для жизни, а для защиты от чего-то более древнего и неоправданного, чем рабочая усталость или чужая тревога.

— Ты боишься этой семьи, — сказала она не как дочь, а почти как врач, и сама услышала в своём голосе профессиональную осторожность, которую мать ненавидела с тех пор, как Евгения получила диплом.

— Не анализируй меня, пожалуйста.

— Я не анализирую. Я спрашиваю.

— Ты именно анализируешь, потому что так тебе легче не чувствовать.

Эта фраза попала точнее, чем Евгения была готова признать. Она отвела взгляд к окну. На стекле медленно сползала капля талого снега, оставляя за собой прозрачную дорожку, и в этом простом движении было что-то раздражающе похожее на след.

— Что произошло в этом доме? — спросила она.

— Ничего такого, что тебе нужно знать.

— Это не ответ.

— Это единственный ответ, который я могу тебе дать.

— Не хочешь или не можешь?

Аркадия Павловна долго молчала, и в этом молчании Евгения уловила не холодность, не упрямство, не семейную гордость, а усталый страх человека, который всю жизнь поддерживал дверь закрытой и вдруг понял, что кто-то с другой стороны уже взялся за ручку.

— Там умирают люди, — сказала мать наконец.

Евгения не сразу нашла, что ответить, потому что фраза прозвучала не как образное предупреждение, а как констатация, слишком простая, чтобы быть случайной.

— Везде умирают люди.

— Не так.

— Как?

— Слишком вовремя.

В трубке послышался какой-то шорох, возможно, мать переложила телефон в другую руку или поднялась с места. Евгения ждала, но Аркадия Павловна не продолжала, словно уже сказала больше, чем собиралась, и теперь пыталась вернуть разговор в безопасную зону.

— Женя, послушай меня. Варвара Илларионовна была умной, властной и очень одинокой женщиной. Такие люди под конец жизни иногда начинают устраивать сложные моральные испытания тем, кто ещё может ходить, спорить и чувствовать вину. Не становись частью её последней игры.

— А если это не игра?

Мать усмехнулась, но без веселья.

— Ты же врач. Ты должна была бы задать этот вопрос иначе.

— Как?

— А если игра именно в том, чтобы ты решила, будто это не игра.

Евгения закрыла глаза. В другое время она оценила бы точность формулировки, даже сказала бы, что мать, как всегда, умеет попадать в самую тревожную точку, но сейчас эта точность только усиливала странное ощущение: все вокруг заранее знают правила, о которых ей одной не сообщили.

— Я должна хотя бы понять, почему меня указали в завещании.

— Никто не должен понимать всё, что ему предлагают понять.

— Это уже звучит как семейный девиз.

— Возможно, — сухо сказала Аркадия Павловна. — У старых семей вообще слишком много девизов и слишком мало честности.

На этом разговор мог бы закончиться, если бы Евгения была другой: более послушной дочерью, более осторожным врачом, более уставшей женщиной, которая умеет выбирать собственное спокойствие. Но письмо уже лежало на столе, и рядом с ним лежала записка, где старческая рука написала о памяти так, словно память была больным телом, оставленным без лечения слишком надолго.

— Там в письме упоминается дом, — сказала Евгения. — И то, что он покажет первым.

Она не успела закончить. Мать резко вдохнула.

— Что именно она написала?

Евгения прочитала записку вслух. Когда она дошла до последней строки, в трубке стало настолько тихо, что ей показалось, будто связь оборвалась.

— Мама?

— Не езжай одна, — сказала Аркадия Павловна.

Это было уже не «не езжай». Не запрет. Не отказ. Это было признание, короткое и вынужденное: опасность существует, даже если о ней нельзя говорить прямо.

— Значит, я всё-таки поеду?

— Я поняла, что ты уже решила.

— Я ещё ничего не решила.

— Решила. Просто ждешь, пока решение станет похоже на разумный вывод.

Евгения хотела возразить, но не стала. Иногда близкие люди бывают невыносимы именно потому, что знают нас не глубже всех, а раньше нас самих.

— Что мне нужно знать? — спросила она.

Аркадия Павловна молчала долго. За это время Евгения успела услышать в трубке далёкий шум телевизора, приглушённый стук посуды, возможно, часы на стене. Эти бытовые звуки почему-то усиливали тревогу: где-то там, в квартире матери, продолжалась обычная московская жизнь, а между ними всё равно стоял северный дом, до которого было больше тысячи километров и несколько поколений умолчаний.

— Не доверяй их фамилиям, — сказала мать наконец. — Они любят звучать так, будто заменяют совесть.

— Кому «их»?

— Всем, кто там соберётся. Вельяминовым, Заболотским, Оболенским, Трубецким, кому угодно. В старых родах люди часто думают, что длинная фамилия делает длиннее память, но на самом деле она только лучше прячет то, что должно было быть названо.

— Ты говоришь загадками.

— Потому что прямые слова в этой истории всегда кому-нибудь вредили.

— Мне они пока вредят меньше, чем загадки.

Мать устало выдохнула.

— Там была девочка.

Евгения выпрямилась в кресле.

— Какая девочка?

— Я не знаю. Или знаю слишком мало. В семье говорили, что в конце девятнадцатого века случилась история, после которой в доме закрыли детское крыло. Кто-то умер, кто-то исчез, кто-то был вычеркнут из родословной. Потом каждые двадцать семь лет происходили смерти. Конечно, всё это объясняли болезнями, войнами, несчастными случаями, но такие совпадения становятся семейной легендой, даже если все делают вид, что не верят.

— Двадцать семь лет, — повторила Евгения.

— Не цепляйся за цифру. Люди любят закономерности, особенно когда боятся хаоса.

— А женщина в белом?

Аркадия Павловна не ответила сразу, и именно по этой паузе Евгения поняла, что попала в центр чего-то, о чём мать надеялась не говорить.

— Откуда ты знаешь?

— Пока не знаю. Предполагаю.

— Значит, уже началось, — сказала мать почти шёпотом, и тут же, словно испугавшись собственной интонации, добавила жёстче: — Прости. Это глупость. Возраст, нервы, семейный фольклор. Я не должна была этого говорить.

— Но сказала.

— Да. Сказала.

После этого они ещё несколько минут обсуждали практические вещи: дату, дорогу, нотариуса, возможность отказаться от поездки, документы, гостиницу в ближайшем городе. Аркадия Павловна пыталась вернуть разговору деловой тон, и Евгения ей в этом помогала, потому что обе они были женщинами, привыкшими выживать через контроль. Но под каждым словом уже текло другое течение, тёмное и холодное, и обе знали, что оно никуда не исчезнет от того, что они назовут его логистикой.

Когда разговор закончился, Евгения долго держала телефон в руке, не кладя его на стол. Рабочий день ещё не был завершён; через двадцать минут должен был прийти следующий пациент, человек с паническими атаками, который на прошлой встрече признался, что больше всего боится не умереть, а потерять способность отличать реальную угрозу от внутренней. Евгения почти улыбнулась этой жестокой симметрии, но улыбка не получилась.

Она встала, подошла к книжному шкафу и открыла нижнюю секцию, где хранила старые семейные альбомы, привезённые после смерти бабушки. Ей редко приходило в голову разбирать их: чужие свадьбы, застолья, дети с бантами, мужчины в неудобных костюмах, женщины с лицами, на которых прошлое выглядело не прошлым, а обвинением. Она достала один альбом, второй, тонкую папку с фотографиями без подписей, села на ковёр прямо у шкафа, как садилась в детстве, когда искала среди бабушкиных вещей доказательства того, что взрослые когда-то тоже были живыми и растерянными.

В третьем альбоме, между снимком её молодой матери в летнем платье и фотографией неизвестного мужчины у санатория, лежала выцветшая карточка, которую Евгения прежде не замечала или не хотела замечать. На ней была старая усадьба: длинный фасад, тёмные окна,

снег на ступенях, голые деревья по сторонам. Фотография была сделана, видимо, зимой, но странное дело: возле дома не было ни следов, ни людей, ни саней, ни машин, только чёрная полоса воды на дальнем плане, слишком тёмная для обычной реки. На обороте чьей-то рукой было написано: «Заболотье. Не возвращаться».

Не «не возвращайся». Не «не ездить». Именно так: «не возвращаться», как безличный запрет, обращённый не к конкретному человеку, а к самому движению назад.

Евгения сидела на полу, держа карточку, и вдруг почувствовала странную усталость, такую, какая накатывает не после тяжёлого дня, а после внезапного понимания, что решение, которое ты считал новым, было принято за тебя много раньше, в той части жизни, где тебя ещё не существовало. Она могла не ехать. Могла позвонить нотариусу, сослаться на занятость, оформить доверенность, забыть записку, убедить себя, что старые женщины любят символы, а семьи — драматизировать собственное прошлое. Всё это было возможно, разумно и даже правильно.

Но в словах Варвары Илларионовны было нечто, от чего Евгения не могла отмахнуться. Не мистика. Не угроза. Не обещание наследства. Там была профессионально невыносимая просьба: приехать туда, где память болеет так давно, что её симптомы приняли за историю семьи.

Когда в дверь кабинета постучали, она вздрогнула и только тогда поняла, что всё ещё сидит на полу среди альбомов. Администратор заглянула осторожно, напоявила, что пришёл пациент, и Евгения быстро поднялась, убрала фотографию в ежедневник вместо закладки, закрыла альбомы и вернулась за стол. Через минуту в кресле напротив уже сидел мужчина с тревожными глазами, говорил о сердце, дыхании, страхе упасть в метро, а Евгения слушала его, задавала вопросы, отмечала повторяющиеся связки, возвращала ему опору в теле и настоящем, делала всё, что умела делать хорошо.

Но краем сознания она всё время чувствовала письмо в ящике стола.

К вечеру снег перешёл в дождь, и Москва стала совсем тёмной, блестящей, тяжёлой. Евгения вышла из клиники позже обычного, отказавшись от такси, потому что ей нужно было пройтись, хотя погода не располагала к прогулке. Она шла по мокрому тротуару, мимо витрин, аптек, кофейни, где люди сидели у окна с бумажными стаканами и лицами, освещёнными телефонами, и думала о том, что современный город приучает человека верить в линейность жизни: работа, дом, маршруты, записи, платежи, медицинские термины, электронные билеты, расписания поездов, психотерапевтические планы, страховые полисы. Всё можно назвать, оформить, внести в календарь, обсудить, перенести, оплатить. И оттого особенно страшно бывает столкнуться с чем-то, что приходит не по расписанию, но с такой уверенностью, словно ждало тебя гораздо дольше, чем ты живёшь.

Дома она открыла ноутбук и начала искать информацию о Варваре Илларионовне Вельяминовой-Заболотской. Сеть выдала немного: старые упоминания о реставрационных спорах, заметку о заброшенных усадьбах русского Севера, генеалогический форум, где люди с упоением обсуждали ветви дворянских родов, путая даты, титулы и браки, несколько фотографий дома, похожего на тот, что был в альбоме. Усадьба называлась Заболотье, хотя местные, судя по одному из комментариев, давно называли её проще и мрачнее — домом на Чёрной протоке.

Евгения открыла фотографию во весь экран. Снимок был сделан летом: высокая трава, облупившаяся штукатурка, тёмные окна второго этажа, тяжёлый фронтон, изящный даже в запустении. Дом казался не разрушенным, а затаившимся. В нём не было живописной романтики руин; напротив, было что-то неприятно цельное, как в старом человеке, который потерял силы, но не власть. Евгения поймала себя на мысли, что не хотела бы оказаться внутри одна.

Потом она увидела на увеличенном снимке окно слева от балкона. За стеклом стояла неясная светлая фигура. Скорее всего, отражение неба, пятно на стекле, дефект снимка, случайная игра света; её разум мгновенно предложил несколько объяснений, каждое из которых

было достаточно правдоподобным. Но тело отреагировало раньше. По спине прошёл холод, тихий и точный, как прикосновение мокрой ткани.

Она закрыла ноутбук.

В квартире стало слышно, как в трубах идёт вода, как за стеной сосед двигает стул, как где-то во дворе сигналит машина. Обычные звуки, обычный вечер, обычная жизнь женщины, которая привыкла понимать чужие страхи и не доверять собственным предчувствиям без проверки. Евгения поднялась, налила себе воды, выпила медленно, почти дисциплинированно, потом вернулась к столу и достала записку Варвары Илларионовны.

«Не доверяйте тому, что дом покажет первым».

Она подумала, что это могла быть хорошая клиническая метафора. Травма тоже никогда не показывает правду сразу. Сначала она показывает симптом, затем защиту, затем ложную историю, которую человек много лет принимал за биографию, и только потом, если хватит сил, открывает место, где всё началось. Возможно, старуха просто удачно выбрала слова. Возможно, дом был всего лишь домом, протока — всего лишь водой, а семейные легенды — способом объяснять случайные смерти, чтобы не признавать обычной человеческой жестокости.

Евгения положила записку рядом с фотографией из альбома и за день позволила себе честно сформулировать то, чего уже не могла не знать: она поедет.

Не потому, что верила Варваре Илларионовне. Не потому, что боялась. Не из-за наследства, которое, скорее всего, обернётся пыльными бумагами, дальними родственниками и юридической морочкой. Она поедет потому, что иногда в жизни врача появляется история, которая слишком настойчиво напоминает ошибку, уже однажды совершённую, и тогда отказ от участия перестаёт быть осторожностью, а становится повторением.

Поздно вечером, когда билет был куплен, расписание сверено, а письмо убрано в папку с документами, Евгения вошла в ванную, включила свет и остановилась перед зеркалом. На мгновение ей показалось, что отражение задержалось на долю секунды, будто не сразу повторило её движение. Она моргнула, шагнула ближе и увидела только собственное лицо: усталое, собранное, чуть бледное, с тонкой складкой между бровями, которая появлялась у неё всякий раз, когда внутреннее решение уже было принято, но внешне его ещё можно было назвать сомнением.

Она улыбнулась своему отражению — не весело, а скорее проверяя, принадлежит ли ей это лицо, — и зеркало послушно улыбнулось в ответ.

А ночью ей приснилась вода.

Не море, не река, не дождь, а узкая чёрная протока под снегом, гладкая и неподвижная, как стекло, которое почему-то не замерзает. На другом берегу стоял дом, тёмный, высокий, с открытой парадной дверью. Евгения знала, что должна повернуться и уйти, но во сне, как и в жизни, иногда сильнее всего ведёт не желание, а необходимость понять. Она сделала шаг по льду, хотя льда не было, и услышала за спиной женский голос, спокойный, усталый, почти ласковый.

— Вы врач, Евгения Аркадьевна. Вам легче будет сначала не поверить.

Проснувшись перед рассветом, она долго лежала неподвижно, слушая, как в московской квартире гудят трубы и за окном начинает сереть небо. Потом поднялась, подошла к столу и обнаружила, что фотография усадьбы, которую она вечером оставила рядом с запиской, лежит лицевой стороной вниз.

Евгения не стала убеждать себя, что помнит точно, как положила её.

Она просто перевернула снимок обратно, посмотрела на чёрную полоску воды за домом и начала собирать вещи.

## Глава 2

### Ошибка доктора Лихачёвой



Утро, в которое Евгения Аркадьевна должна была уехать на север, началось не с будильника и не с привычного краткого раздражения на темноту за окном, а с того тонкого, почти болезненного ощущения, что ночь не закончилась до конца и только притворилась утром, чтобы человеку было легче подняться, умыться, застегнуть чемодан и назвать всё происходящее поездкой по наследственному делу. За окном едва серел московский рассвет, слабый, водянистый, с грязными разводами на стекле и тусклым сиянием фонарей, которые ещё не погасли, хотя уже потеряли власть над улицей. В квартире было тихо, но тишина эта казалась не отдыхом, а настороженным ожиданием, словно вещи, разложенные на столе с вечера, за ночь успели узнать о ней больше, чем знала она сама.

Евгения стояла у открытого чемодана и проверяла содержимое с той чрезмерной внимательностью, которая выдаёт не собранность, а попытку удержать внутренний беспорядок через внешний порядок. Тёплый свитер, запасная рубашка, лекарства, зарядное устройство, папка с документами, блокнот, несколько ручек, книга, которую она, вероятнее всего, не откроет, и

маленькая дорожная аптечка, будто поездка к старой усадьбе требовала того же набора средств, что и любая человеческая тревога: что-нибудь от боли, что-нибудь от температуры, что-нибудь для сна, хотя самые тяжёлые состояния редко поддаются таблеткам, если их источник находится не в теле, а в той области памяти, где человек сам себе становится и врачом, и пациентом, и свидетелем, который слишком поздно решает говорить.

Письмо Варвары Илларионовны лежало отдельно, в плотной папке с застёжкой, и Евгения несколько раз ловила себя на том, что возвращается к нему взглядом, как возвращаются к закрытой двери, из-за которой не доносится ни звука, но именно это молчание и не даёт забыть о её существовании. Она не стала брать с собой все семейные альбомы, хотя накануне вечером почти поддавалась странному желанию сложить в чемодан всё, что могло иметь отношение к Заболотью, будто прошлое можно было перевезти физически, аккуратно разложив по отделениям. Вместо этого она взяла только выцветшую фотографию усадьбы с надписью на обороте: «Заболотье. Не возвращаться». Снимок лежал между страницами её ежедневника, и каждый раз, когда Евгения открывала его, ей казалось, что чёрная полоса воды на дальнем плане стала шире, хотя разум мгновенно отвергал это как невозможность, усталость, игру восприятия, тот самый человеческий обман, на котором держится половина семейных легенд.

Такси должно было приехать через двадцать минут. Она успевала выпить кофе, но не стала его варить, потому что вкус кофе в такие утра часто оказывается слишком грубым, слишком будничным, почти оскорбительным по отношению к внутреннему предчувствию. Вместо этого Евгения налила себе воды, сделала несколько глотков и поймала в стекле кухонного окна своё отражение: женщина сорока двух лет, подтянутая, бледная от недосыпа, с тёмными волосами, собранными на затылке, и лицом, которое пациенты иногда называли спокойным, не понимая, что спокойствие врача нередко бывает не природным качеством, а многолетней тренировкой удерживать собственную реакцию на расстоянии вытянутой руки. Она умела смотреть на чужую панику так, чтобы человек чувствовал: его страх не заразен, не постыден и не всемогущ. Она умела задавать вопросы, от которых боль не исчезала, но становилась видимой. Она умела отличать метафору от симптома, защиту от манипуляции, семейную легенду от травматического повторения.

И всё же была одна история, в которой она ошиблась.

Евгения редко позволяла себе вспоминать об этом прямо. Не потому, что память была невыносима; невыносимое, как она знала по опыту, со временем не исчезает, а учится менять форму, становится привычкой, профессиональной осторожностью, сухой фразой в личной биографии, внезапным бессонным часом между тремя и четырьмя утра. Она говорила себе, что тогда действовала корректно, что у неё не было всех данных, что даже самый внимательный врач не может предвидеть каждую катастрофу, особенно если сам пациент не говорит до конца. Она повторяла это на супервизии, слышала это от коллег, читала похожие формулировки в профессиональных статьях, где человеческая гибель превращалась в «неблагоприятный исход», «комплекс факторов риска», «ограниченность прогностических возможностей клинической оценки». Всё это было правдой. Но правда, выраженная правильными словами, не всегда облегчает вину, потому что вина редко спорит с аргументами; она живёт глубже, в том месте, где человек по ночам спрашивает себя не о протоколе, а о взгляде, который видел напротив и не понял.

Её звали Марина Стеклова.

Фамилия эта всплыла в памяти не как запись в карте и не как строка на экране, а вместе с запахом сиреневого шарфа, который Марина всегда снимала, едва входила в кабинет, и аккуратно складывала на подлокотник кресла, будто оставляла там не вещь, а часть своей прежней внешней собранности. Ей было двадцать девять лет, она работала искусствоведом в частном фонде, говорила тихо, с почти болезненной вежливостью, и обладала той разновидностью хрупкой красоты, которая у незнакомых людей вызывает желание быть осторожнее,

хотя на самом деле хрупкость её была не в лице, а в способе занимать пространство. Марина сидела в кресле так, словно извинялась за то, что имеет вес, голос и право на вопрос. Первые встречи были обычными: тревога, нарушения сна, приступы дереализации, страх «потерять связь с собой», сложные отношения с матерью, ранняя смерть отца, работа, в которой её профессиональная компетентность постоянно сталкивалась с ощущением внутренней пустоты.

А потом она начала говорить о доме.

Не сразу, не в лоб, не так, как рассказывают готовую историю. Сначала появились сны: длинные коридоры, вода под полом, женщина, которая стоит в конце лестницы и смотрит не на Марину, а сквозь неё. Потом — ощущение, что иногда она просыпается не в своей квартире, хотя видит те же стены и тот же шкаф. Потом — фраза, сказанная так тихо, что Евгения переспросила: «Я думаю, меня кто-то вспоминает из места, где я никогда не была». Тогда это прозвучало как поэтическое описание диссоциации, и Евгения, возможно, слишком охотно положила его в понятную клиническую рамку.

Она хорошо помнила тот сеанс, хотя много раз пыталась убедить себя, что память задним числом драматизирует детали. Был конец февраля, за окном шёл снег, в кабинете пахло мокрой шерстью и кофе из соседней комнаты. Марина пришла бледнее обычного, с воспалёнными глазами, в том же сиреновом шарфе, но не сняла его сразу, а сидела, сжимая края ткани у горла. Она сказала, что нашла в интернете фотографию дома, который видит во сне. Старинная усадьба на севере. Тёмная вода рядом. Чёрная протока. Женщина в белом платье у берега.

Евгения тогда попросила показать фотографию. Марина достала телефон, руки у неё дрожали, экран несколько раз гас, и она раздражённо смеялась над собственной неловкостью, как смеются люди, которым страшно признать серьёзность своего страха. На снимке был старый дом, полуразрушенный, тёмный, с облупившейся штукатуркой и провалами окон. Евгения посмотрела, отметила архитектуру, атмосферность, типичность образа для тревожного воображения, а затем очень мягко начала говорить о том, что психика умеет находить внешние изображения для внутреннего состояния, что сон может закрепиться после случайно увиденной фотографии, даже если человек не помнит момент просмотра, что мозг часто собирает пугающие образы из фрагментов культуры, памяти и личных переживаний. Она говорила бережно, корректно, не обесценивая, но и не поддерживая буквальную веру в происходящее. Именно так её учили. Именно так она сама учила молодых специалистов.

Марина слушала, кивала и всё глубже уходила в неподвижность. В какой-то момент она сказала: «Вы хотите, чтобы я снова стала нормальной». Евгения ответила, что хочет помочь ей снова почувствовать опору в реальности. Это была профессиональная, правильная фраза. В тот момент она показалась ей хорошей. Теперь, спустя почти два года, Евгения иногда слышала её ночью и думала, что некоторые правильные фразы становятся жестокими не потому, что врач хотел причинить боль, а потому, что они произнесены в тот миг, когда человеку нужно было не возвращение к реальности, а свидетель, готовый на секунду войти рядом с ним в его невозможное.

За неделю до гибели Марина принесла рисунок. На листе была лестница, уходящая вниз, и вода, поднимавшаяся по ступеням. На обороте она написала: «Если я пойду туда, я узнаю, кто умер вместо меня». Евгения усилила наблюдение, обсудила с ней риски, предложила подключить медикаментозную поддержку, получила согласие на консультацию психиатра, составила план безопасности, всё сделала так, как должен делать внимательный специалист. Марина даже улыбнулась на прощание и сказала, что ей стало спокойнее.

Через три дня её нашли в старом заброшенном флигеле подмосковной усадьбы, куда она, по данным следствия, приехала одна. Никакой Чёрной протоки там не было, только узкий пожарный пруд, покрытый грязным льдом, и вода в подвальном помещении, куда Марина, вероятно, спустилась, поскользнулась и ударилась головой. Официально это назвали несчастным случаем. Евгения прочитала заключение много раз, как будто количество прочтений

могло превратить его в исчерпывающее объяснение. Ни записки, ни явных признаков намерения не нашли. В телефоне остались поисковые запросы о старинных домах, семейных проклятиях, исчезнувших наследницах и женщине в белом платье. Среди сохранённых изображений была фотография Заболотья.

Тогда Евгения увидела дом на Чёрной протоке, но не запомнила его как часть собственной истории. Она запомнила его как элемент чужого бреда, чужой тревоги, чужого трагического маршрута, который не удалось остановить. И только теперь, спустя два года, письмо Варвары Илларионовны вытянуло этот снимок из глубины памяти, как вода вытаскивает на поверхность предмет, который долго лежал в иле и оттого кажется не найденным, а возвращённым.

Телефон на кухонном столе вибрировал, сообщая, что машина подъехала. Евгения не сразу взяла его. Она стояла у окна и вдруг ясно поняла, что едет не только к завещанию и не только к дому дальней родственницы. Она едет к месту, которое однажды уже возникло в её кабинете в виде симптома, рисунка, испуганного рассказа и фотографии на экране чужого телефона. Тогда она не поехала вслед за этим образом. Тогда она осталась в своём профессиональном мире, где всё можно объяснить и почти всё можно записать. Теперь этот мир не рухнул, нет, он просто дал трещину, тонкую, почти незаметную, как трещина в зеркале, которую сначала принимаешь за волосок на стекле, а потом видишь, что она идёт изнутри.

Она застегнула чемодан, надела пальто, проверила документы и уже у двери вдруг вернулась в кабинет. На столе рядом с деревянной птицей лежала старая визитница. Евгения открыла её и достала маленький листок, который хранила без понятной причины, хотя давно должна была уничтожить вместе с остальными ненужными бумагами. Это была запись последнего времени приёма Марины Стекловой, сделанная рукой администратора: «Среда, 18:00». Обычная бумажка, обыденная отметка, бессмысленный остаток чужой жизни. Евгения несколько секунд смотрела на неё, затем вложила в ежедневник рядом с фотографией Заболотья. Она не знала зачем. Возможно, потому, что врач иногда тоже нуждается в доказательстве, что человек, которого он не спас, был не случаем, не ошибкой прогноза, не профессиональной травмой, а человеком, сидевшим однажды в кресле и говорившим о воде под полом.

Такси везло её к вокзалу через утреннюю Москву, ещё не проснувшуюся до конца, но уже включившую привычную суету: дворники чистили влажный снег у подъездов, продавщицы открывали кофейни, люди в тёмных пуховиках шли к метро, держа телефоны перед лицом, будто каждый из них нёс маленькое личное зеркало, в котором можно спрятаться от города. Евгения смотрела в окно и думала о том, что современность всегда кажется прочной только до тех пор, пока в неё не приходит письмо с фамильной печатью. Стоит появиться такому письму, и под асфальтом, расписаниями, электронными билетами, медицинскими картами, банковскими приложениями вдруг проступает иной слой жизни, старше, медленнее, жестче, где люди всё ещё связаны не только выбором, но и кровью, виной, наследством, вычеркнутыми именами.

Вокзал встретил её шумом, светом, запахом мокрой одежды, горячего теста и металла. Этот обычный вокзальный мир был почти утешителен: люди опаздывали, ругались у терминалов, покупали воду, обнимались на прощание, тащили чемоданы, проверяли платформы, несли детей, пакеты, цветы, котов в переносках, свои маленькие срочные жизни. В такой толпе всякая мистическая тревога казалась преувеличенной, почти литературной прихотью, и Евгения на несколько минут почувствовала облегчение. Невозможно всерьёз бояться старого дома, когда рядом мужчина в спортивной шапке спорит с кассиршей из-за неправильного места у окна, а подросток в наушниках роняет на пол булочку и драматически смотрит на неё, будто это главная утрата утра.

Но облегчение длилось недолго. У вагона Евгения заметила женщину лет шестидесяти в тёмной шубе, которая стояла чуть в стороне от очереди и смотрела на неё с таким пристальным,

неподвижным вниманием, что Евгения сначала решила: они знакомы. В лице женщины было что-то старомодное, не в одежде, а в посадке головы, в выражении губ, в холодной собранности взгляда. Евгения уже хотела поздороваться или хотя бы вопросительно поднять брови, но в этот момент между ними прошла группа пассажиров с чемоданами, и когда пространство снова открылось, женщины не было. Возможно, она отошла к другому вагону. Возможно, Евгения просто потеряла её в толпе. Вокзал был полон людей, исчезающих и появляющихся каждую секунду, и искать в этом знак было бы слишком легко.

Она вошла в вагон, нашла своё место у окна, подняла чемодан на полку с помощью молчаливого мужчины напротив, поблагодарила и села. Поезд ещё стоял, но уже жил преддверием движения: кто-то устраивался, кто-то звонил, кто-то шелестел пакетами, проводница проверяла билеты с усталым выражением служебной доброжелательности. Евгения достала ежедневник, чтобы убрать туда билет, и из него выпала фотография усадьбы. Она наклонилась, подняла снимок с пола и заметила, что мужчина напротив смотрит на него.

Ему было около пятидесяти, с тяжёлым, умным лицом и аккуратной бородой, в дорогом, но неброском пальто, с руками человека, привыкшего не работать физически, но не утратившего силы. Он перевёл взгляд с фотографии на Евгению и чуть улыбнулся, не навязчиво, а так, как улыбаются люди, обнаружившие совпадение, которое они пока не решили назвать совпадением.

— Заболотье? — спросил он.

Евгения почувствовала, как внутри неё что-то насторожилось, но внешне только кивнула.

— Вы знаете это место?

— Кто же из нас его не знает, если едет туда сейчас, — ответил он мягко. — Простите. Арсений Павлович Голицын-Репнин.

Он назвал фамилию без нажима, но в ней всё равно прозвучала та особая тяжесть, о которой вчера говорила мать: длинная фамилия как маленький герб, вынесенный в разговор раньше самого человека. Евгения представилась, и Арсений Павлович чуть заметно изменился в лице, когда услышал её имя.

— Лихачёва, — повторил он. — Значит, Варвара Илларионовна всё-таки вспомнила и вашу ветвь.

— Похоже на то.

— Или не вспомнила, а рассчитала, — сказал он и посмотрел в окно, за которым перрон медленно оживал последними движениями перед отправлением. — Впрочем, у Варвары Илларионовны эти вещи всегда были неразличимы.

Евгения не ответила. Она убрала фотографию в ежедневник, но теперь понимала, что поездка началась по-настоящему не тогда, когда она закрыла дверь квартиры, и не тогда, когда села в такси, а сейчас, когда первый человек из круга наследников заговорил о покойной так, будто смерть лишь сменила форму её влияния, но не отменила власти.

Поезд тронулся. Москва медленно поплыла за окном, сначала платформами, складами, граффити, мокрыми заборами, потом серыми кварталами, мостами, промзонами и редкими деревьями, чьи ветви казались нарисованными тушью на мутном стекле утра. Евгения смотрела, как город отступает, и с каждым километром чувствовала, что привычный мир не исчезает сразу, а истончается постепенно, слой за слоем, пока под ним не начинает проступать другой ландшафт — не географический даже, а внутренний, где страхи, однажды названные симптомами, могут оказаться сообщениями, пришедшими из места, которому слишком долго не отвечали.

Арсений Павлович некоторое время молчал, потом достал книгу, но не открыл её. Мужчина у прохода уснул почти сразу, неловко уронив голову на грудь. В соседнем ряду молодая женщина кормила ребёнка печеньем, тихо шепча ему что-то ласковое. Всё было обычно, но эта обычность теперь не успокаивала, а создавала странный контраст, словно Евгения сидела

внутри тонкой оболочки повседневности, за которой уже двигалось что-то более глубокое и холодное.

Она открыла ежедневник на чистой странице, машинально написала дату и место: «Поезд Москва — Архангельск». Потом ниже, не думая, вывела имя: «Марина Стеклова». Рука остановилась. Евгения посмотрела на написанное и вдруг поняла, что за два года записала это имя не в профессиональном контексте, не в личной заметке о вине, не в воспоминании, которое тут же хотелось закрыть, а как часть расследования, хотя никакого расследования ещё не было.

— Вы знали Варвару Илларионовну близко? — спросила она, не поднимая глаз.

Арсений Павлович повернул голову.

— Никто не знал её близко. Она не подпускала людей на такое расстояние, где их можно было бы пожалеть.

— Но вы бывали в Заболотье?

— В детстве. Один раз. Меня привезли туда на лето, но через три дня увезли обратно. Мать сказала, что я простудился. Потом, уже взрослым, я понял, что дело было не в простуде.

— А в чём?

Он посмотрел на неё внимательно, и Евгения снова отметила эту фамильную, почти музейную сдержанность людей, привыкших сначала оценивать, сколько правды выдержит собеседник, и только потом решать, стоит ли вообще говорить.

— Я испугался детской комнаты, — сказал он наконец. — Вернее, того, что в ней кто-то плакал по ночам. Мне было семь лет, и все взрослые уверяли меня, что старый дом полон звуков, но на третью ночь мать вошла ко мне и увидела, что я стою у двери с подушкой в руках и прошу отвести меня туда, где ребёнок перестанет плакать.

Евгения почувствовала, как пальцы сами сжались вокруг ручки.

— И что было потом?

— Ничего. В приличных семьях «ничего» вообще случается удивительно часто. Меня увезли, комнату закрыли, мать больше никогда не говорила о Заболотье, а Варвара Илларионовна много лет присылала открытки к Рождеству, в которых желала мне здоровья и благоразумия. Второе, насколько я понимаю, ценилось ею выше первого.

Он произнёс это почти насмешливо, но в голосе его была тень настоящего воспоминания, слишком давнего, чтобы причинять острую боль, и слишком живого, чтобы превратиться в анекдот.

— Вы верите в семейное проклятие? — спросила Евгения.

Арсений Павлович улыбнулся.

— Я верю в семейные преступления. Они куда надёжнее проклятий и гораздо чаще передаются по наследству.

Ответ был почти тем же, что сказала бы она сама ещё вчера, но теперь он не успокоил. Скорее наоборот: в его рациональности чувствовалось знание, добытое не чтением, а личным участием в мире, где старые дома, фамильные архивы и вычеркнутые имена редко существуют без причины.

Поезд шёл на север, и за окном постепенно менялся свет. Чем дальше они уходили от Москвы, тем больше становилось белого, серого и чёрного; деревни мелькали низкими крышами, поля лежали под снегом ровно и глухо, редкие станции появлялись в сумраке как временные пристани человеческого тепла, где на несколько минут возникали люди, фонари, голоса, пар от дыхания, а потом всё снова исчезало за стеклом. Евгения пыталась читать, потом закрыла книгу, пыталась отвечать на рабочие сообщения, потом убрала телефон. Внутри неё нарастало нечто похожее на предчувствие сеанса, только пациентом была не отдельная личность, а целая история, которая долго молчала и теперь, возможно, собиралась заговорить сразу несколькими голосами.

К вечеру она вышла в тамбур. Там пахло железом, холодом и слабым табачным следом, хотя курить давно было нельзя. За стеклом двери проносилась тёмная равнина, и редкие огни далёких домов казались не обещанием жилья, а доказательством того, что люди умеют упорно зажигать свет даже там, где ночь всё равно сильнее. Евгения стояла, держась за поручень, и думала о Марине, о её рисунке с лестницей, о фразе «кто умер вместо меня», которая теперь уже не казалась только выражением больной вины. Возможно, Марина действительно искала в чужом доме ответ на свою внутреннюю пустоту и нашла только смерть. Возможно, она случайно наткнулась на ту же легенду, к которой теперь приближалась Евгения. Возможно, между ними не было никакой связи, кроме человеческой способности видеть смысл там, где есть только совпадение.

Но совпадения тоже имеют свою настойчивость.

Когда Евгения вернулась в купе, Арсений Павлович уже спал или делал вид, что спит, откинувшись на спинку кресла. На столике лежала его закрытая книга. Евгения скользнула взглядом по обложке и увидела название: «Родословные росписи северного дворянства». Между страницами торчала закладка, а на полях, видимых под углом, были сделаны карандашные пометки. Значит, он ехал не просто на оглашение завещания. Он готовился. И это знание неприятно совпало с первым впечатлением: в Заболотье собирались не растерянные родственники, случайно вызванные волей покойной старухи, а люди, каждый из которых уже нес с собой собственную версию прошлого.

Ночью Евгения почти не спала. Она дремала урывками, слышала перестук колёс, дыхание соседей, шуршание проводницы в коридоре, далёкие объявления на станциях, названия которых тут же забывались, потому что в полусне они казались не географией, а словами из чужого сна. Несколько раз ей мерещилось, что кто-то идёт по коридору босиком, но каждый раз, открыв глаза, она видела только мерцающий ночник и пустой проход за стеклянной дверью. Под утро ей приснилась Марина Стеклова. Та сидела в кресле напротив, в сиреновом шарфе, и спокойно говорила: «Вы всё правильно объяснили, Евгения Аркадьевна, только объяснение было не той дверью». Евгения хотела спросить, какая дверь была правильной, но Марина подняла руку и показала на пол, где между досками медленно проступала вода.

Она проснулась от того, что поезд начал тормозить. За окном была уже не Москва и не средняя полоса, а северная земля, где снег казался не погодой, а первоначальным состоянием мира. Станция, на которой им предстояло пересест в машину до Заболотья, выглядела маленькой и почти временной: низкое здание, жёлтый свет в окнах, несколько фигур на платформе, пар от дыхания, чёрная линия леса за путями. Небо было серым, тяжёлым, близким, словно его подвесили слишком низко над землёй.

Евгения вышла из вагона, и холод сразу коснулся лица с такой чистой, беспощадной определённости, что все московские тревоги на мгновение отступили. Арсений Павлович снял с полки её чемодан, подал без лишней галантности, как человек, для которого вежливость не жест, а правило, и они вместе пошли по платформе к зданию вокзала. Там, у выхода, уже стояли несколько человек, которых Евгения не знала, но почему-то сразу поняла, что они тоже направляются в Заболотье. Возможно, дело было в одинаковой настороженности, с которой они оглядывались друг на друга, в слишком хорошей одежде для этой маленькой станции, в фамильной уверенности лиц, не привыкших признавать растерянность.

Высокая женщина с тяжёлой сумкой для инструментов и внимательными серыми глазами стояла чуть в стороне, разглядывая потолочную лепнину вокзального зала так, будто даже здесь, среди облупленной краски и сквозняка, искала скрытый слой. Позже Евгения узнает, что это Мирослава Юрьевна Оболенская, реставратор. Мужчина в дорогом шарфе, с усталым красивым лицом и слишком живым взглядом журналиста, который одновременно сочувствует и оценивает материал, говорил по телефону у окна, время от времени поглядывая на собравшихся. Это был Герман Алексеевич Трубецкой-Резанов. Рядом с дверью стоял молодой чело-

век с мрачной, сосредоточенной осанкой и коротко стриженными волосами; в нём было что-то служебное, даже без формы, и Евгения безошибочно почувствовала в нём человека, привыкшего смотреть на других как на возможных свидетелей. Платон Сергеевич Воронцов-Кольцов, подумала она позже, но в тот момент ещё не знала его имени.

И среди них, у самой стены, почти скрытая за спиной полной женщины в пуховом платке, стояла девочка.

Евгения заметила её не сразу, а когда заметила, ощутила ту самую профессиональную настороженность, которая возникает не от диагноза, а от несоответствия. Девочке было лет пятнадцать, может быть, чуть меньше или чуть больше, с бледным лицом, тёмными волосами, убранными небрежно, и глазами, которые казались старше всего остального лица. Она стояла неподвижно, не глядя на людей, будто старалась занимать как можно меньше места, но при этом всё пространство вокруг неё странным образом собиралось, как вода собирается вокруг камня. На ней была простая куртка, слишком городская и слишком тонкая для этого холода, на руках — вязаные перчатки, одна с маленькой дыркой у большого пальца. Женщина в платке что-то говорила ей, возможно, наставляла, но девочка не слушала. Она смотрела в окно вокзала, за которым серела дорога к лесу.

Потом она медленно повернула голову, и её взгляд встретился с Евгенией.

В этом взгляде не было ни просьбы, ни страха, ни обычного подросткового вызова. Было другое: мгновенное узнавание, от которого Евгения почувствовала неприятный холод под сердцем. Девочка смотрела на неё так, словно знала не её имя и не профессию, а какую-то подробность, спрятанную глубоко внутри, возможно, даже ту, которую Евгения сама предпочла бы не доставать из памяти. Взгляд длился всего несколько секунд, потом девочка отвернулась, но Евгения уже поняла, что именно эта девочка и есть Таисия, наследница, ради которой Варвара Илларионовна оставила открытой дверь.

Снаружи подъехали две машины. Водитель, пожилой мужчина с обветренным лицом, вошёл в зал, снял шапку и назвал фамилии почти без ошибок, как будто репетировал их заранее. Когда он произнёс «Лихачёва», Евгения подняла руку. Когда произнёс «Таисия Сергеевна», девочка вздрогнула, но не отозвалась, и женщина в платке подтолкнула её мягко, с досадливой заботой.

— Это она, — сказала женщина. — Таисия.

Водитель посмотрел на девочку, и лицо его изменилось. Очень ненамного, но Евгения заметила: губы сжались, взгляд стал осторожнее, почти суевернее. Он быстро отвёл глаза и добавил, обращаясь уже ко всем:

— До усадьбы часа два, если дорогу не перемело. Мост через протоку держится, но ехать надо засветло.

— Через какую протоку? — спросил Герман, убирая телефон.

Водитель будто не хотел отвечать, но всё же ответил:

— Через Чёрную.

Название прозвучало в маленьком вокзальном зале буднично, почти грубо, но после него на мгновение все замолчали, даже те, кто не должен был знать, почему это слово важно. Евгения посмотрела на Таисию. Девочка по-прежнему стояла у стены, но теперь её лицо стало ещё бледнее.

— Я там уже была, — сказала она тихо.

Женщина в платке обернулась к ней.

— Что ты говоришь? Не была ты там никогда.

Таисия не стала спорить. Она только посмотрела в окно, туда, где за станцией начиналась заснеженная дорога, и так же тихо, почти без выражения добавила:

— Не сейчас. Раньше.

Никто не ответил. Водитель кашлянул, поднял воротник и первым вышел на улицу. Остальные потянулись за ним, поднимая чемоданы, поправляя шарфы, пряча лица от холодного ветра, и всё это могло бы выглядеть обычным началом неудобной поездки в старую северную усадьбу, если бы Евгения не чувствовала с нарастающей ясностью, что каждый их шаг от вокзала к машинам уже входит в ту историю, из которой Варвара Илларионовна не смогла выйти даже смертью.

На крыльце вокзала снег хрустел под ногами сухо и резко. Дорога уходила к лесу, серому, плотному, неподвижному. Где-то далеко за ним должен был стоять дом.

Евгения подняла воротник пальто, крепче сжала ручку чемодана и за всю поездку подумала не о Марине, не о письме, не о матери и не о покойной Варваре Илларионовне, а о том, что дом на Чёрной протоке, возможно, уже знает, кто к нему едет.

## Глава 3

Следователь, которому не нужен отпуск



Платон Сергеевич Воронцов-Кольцов не любил вокзалы, хотя в силу профессии бывал на них чаще, чем хотел бы признавать, и всякий раз испытывал одно и то же тягостное чувство: будто человек, оказавшийся среди гулких объявлений, скользкого пола, чемоданов, чужих голосов и пахнущих кипятком стаканов, на несколько минут теряет ясные границы собственной жизни. На вокзале каждый кажется временным, даже тот, кто приехал надолго; каждый держит при себе слишком мало вещей для правды о себе и слишком много для простого перемещения из одного места в другое. Люди здесь всегда куда-то уходят, но редко выглядят так, будто действительно знают, от чего уезжают и к чему приближаются.

Он стоял у окна маленького северного вокзала, держа в руке дорожную сумку, и наблюдал за теми, кого Варвара Илларионовна Вельяминова-Заболотская собрала после смерти с той же властной точностью, с какой, вероятно, при жизни расставляла людей за столом, решая, кому рядом с кем сидеть, кто должен говорить, кто молчать, кто чувствовать себя обязанным, а кто — лишним. Платон никогда не встречался с ней лично, хотя её имя слишком часто возникало

в семейных разговорах, чтобы считаться случайным, и каждый раз произносилось так, словно вместе с ним в комнату входило не воспоминание о старой родственнице, а холодная тень дома, откуда все давно уехали, но куда никто по-настоящему не решался вернуться.

В отличие от остальных, он не строил себе иллюзий относительно причины собственного приезда. Завещание было поводом, формальной ниткой, за которую следовало потянуть, чтобы попасть в усадьбу законно, без объяснений, без служебных запросов, без необходимости изображать интерес к архитектурному наследию или родственной памяти. На самом деле Платон ехал не к Варваре Илларионовне и не за долей, которая, скорее всего, окажется либо ничтожной, либо обременённой таким количеством условий, что разумный человек предпочёл бы оставить её нотариусу вместе с пылью старого дома. Он ехал за делом, которое никогда не было делом в юридическом смысле и именно поэтому жило в его семье дольше любых расследований.

Его отец, Сергей Михайлович Воронцов-Кольцов, когда-то произнёс название Заболотья в кухне их московской квартиры поздно вечером, думая, что сын спит. Платону тогда было двенадцать или тринадцать лет, возраст достаточно взрослый, чтобы понимать: если взрослые говорят тише обычного, значит, речь идёт о чём-то важном, и достаточно детский, чтобы всё ещё верить, будто подслушанная тайна станет понятной просто потому, что ты услышал её первым. Он лежал в своей комнате с книгой под одеялом и слышал, как отец ходит по кухне, как мать, Лидия Андреевна, просит его не возвращаться к этой истории, как в стакане звякает ложка, хотя чай давно должен был остыть. Потом отец сказал фразу, которая осталась в Платоновой памяти не как смысл, а как заноза: «Там не проклятие, Лида. Там кто-то очень живой всё это время пользовался мёртвыми».

Через несколько месяцев отца отстранили от работы над странным исчезновением, которое официально никакого отношения к Заболотью не имело. Ещё через год он ушёл из органов, якобы по состоянию здоровья, хотя Платон уже тогда видел: дело было не в здоровье, а в каком-то внутреннем переломе, после которого человек продолжает жить, чинить кран, читать газеты, спрашивать сына об учёбе, но словно перестаёт доверять самому устройству мира, которому служил. Сергей Михайлович никогда не рассказывал ему всей истории. Он умер через много лет, сохранив привычку замолкать на середине фразы, если разговор приближался к северной усадьбе, к фамилии Вельяминовых-Заболотских, к женщине в белом платье, которую сам называл «самой удобной ложью из всех, что я встречал».

Платон, выбравший ту же профессию, не считал себя человеком сентиментальным. Он знал цену семейным легендам, видел, как дети наследуют не только черты лица и хронические болезни, но и чужие страхи, обиды, незакрытые вопросы, превращая их в жизненный маршрут, который потом принимают за собственный выбор. Он много лет не трогал отцовскую папку, хранившуюся в нижнем ящике книжного шкафа, и это промедление объяснял занятостью, уважением к умершему, нежеланием копаться в старой боли, хотя, если быть честным, дело было в другом. Он боялся обнаружить, что отец действительно ошибался, что вся его последняя одержимость строилась на совпадениях, старых слухах, профессиональной усталости и той опасной потребности видеть закономерность там, где человеческий разум не выдерживает случайности.

Но потом пришло письмо с чёрной печатью.

Варвара Илларионовна, умершая в Заболотье, почему-то включила Платона в число наследников, хотя по крови он принадлежал к такой дальней боковой ветви, что его фамилия скорее украшала родословную, чем давала право на что-либо реальное. В нотариальном уведомлении всё было сухо, как и полагается документам, с помощью которых живые приводят смерть в административный порядок, но к письму была приложена ксерокопия старой фотографии: фасад усадьбы, снег, открытая парадная дверь, и на обороте — несколько слов, написанных, как показалось Платону, рукой его отца, хотя разум мгновенно предложил осторожное

«похожим почерком». «Если она соберёт их всех, значит, пришло время смотреть не на воду, а под неё».

С тех пор он перестал спать спокойно.

Теперь, стоя в вокзальном зале и наблюдая за собравшимися, Платон чувствовал то особое напряжение, которое предшествует не событию, а правильной расстановке фигур. Здесь были не просто наследники. Здесь были люди, каждый из которых привёз с собой нечто большее, чем чемодан. Высокая женщина с серыми глазами, Мирослава Оболенская, держалась так, будто одновременно присутствовала в настоящем и внимательно изучала все его трещины, профессионально замечая сколы на стенах, старую лепнину, слой поздней краски на деревянных наличниках, не замечаемый другими. Журналист Герман Трубецкой-Резанов говорил по телефону, но взгляд его работал отдельно от голоса, цепко и беспардонно; Платон знал таких людей, они редко входят в комнату без мысленной камеры и почти никогда не слышат историю без вопроса, как её продать. Арсений Голицын-Репнин стоял рядом с женщиной, которую Платон позже узнал как Евгению Лихачёву, и в его породистой сдержанности было что-то слишком подготовленное, слишком ровное, как у человека, заранее выбравшего себе роль в предстоящем разговоре.

А девочка у стены не подходила ни к одной роли.

Таисия — так назвал её водитель, и само это имя, старинное, мягкое, с почти забытым домашним оттенком, странно не совпадало с её настороженным подростковым лицом. Она была одета беднее и проще остальных, без той небрежной дороговизны, которая у старых семей часто сохраняется даже в бедности, потому что человек может потерять деньги, но не всегда теряет привычку выбирать пальто так, будто его увидят предки. Девочка стояла рядом с полной женщиной в пуховом платке, по-видимому опекуншей, и смотрела не на людей, а за окно, туда, где начиналась дорога к Заболотью. В её неподвижности было не упрямство и не страх в обычном смысле. Скорее, она напоминала человека, который уже услышал музыку в соседней комнате, пока остальные спорят, есть ли там вообще дверь.

Когда водитель произнёс «Чёрная протока», Платон заметил сразу несколько реакций. Герман поднял бровь, как человек, почувствовавший удачный заголовок. Мирослава слегка повернула голову, будто отмечая, как слово меняет воздух. Арсений Павлович опустил глаза. Евгения Лихачёва посмотрела на девочку, и в этом взгляде было не простое любопытство, а настороженность врача, увидевшего симптом, который не хочет становиться симптомом. Таисия же сказала, что уже была там раньше, хотя опекунша немедленно возразила, и именно эта маленькая сцена показалась Платону важнее всех официальных бумаг. Люди часто врут словами, но тело успеваешь сказать правду раньше: женщина в платке была не удивлена, а испугана; водитель отвёл глаза слишком поспешно; сама девочка не стала доказывать, потому что, возможно, говорила не для них.

Машины стояли у вокзала, припорошенные снегом, с работающими двигателями и мутными окнами. Первая была старым внедорожником, в который водитель жестом пригласил Платона, Евгению, Таисию с опекуншей и Арсения Павловича; во вторую должны были сесть Мирослава, Герман и остальные дальние родственники, приехавшие тем же поездом, но пока державшиеся полутеньями вокруг главных лиц, словно сами не понимали, оказались ли они участниками истории или только её случайными свидетелями. Платон занял переднее пассажирское сиденье, потому что привык видеть дорогу и руки водителя, и это движение, слишком естественное для него, вызвало у старика за рулём короткий оценивающий взгляд.

— Вы служивый? — спросил водитель, трогаясь с места.

— В некотором смысле, — ответил Платон.

— Следовательно, — сказал Арсений Павлович с заднего сиденья, и в его голосе прозвучала лёгкая, почти незаметная усмешка. — У Варвары Илларионовны было прекрасное чувство

композиции. Врач, следователь, реставратор, журналист и девочка, которой достался дом. Не хватает только священника, но, думаю, она и его чем-нибудь заменила.

Опекунша Таисии, крупная женщина с усталым лицом и руками, красными от холода, недовольно повернулась к нему.

— Вы бы при ребёнке-то помолчали про такие вещи.

— Ей пятнадцать, — тихо сказала Таисия, не глядя на неё. — Я не ребёнок.

— Вот именно что ребёнок, — с раздражённой заботой ответила женщина. — И не надо начинать.

Платон посмотрел на них в зеркало заднего вида. Опекунша держалась с той напряжённой практичностью, какую он часто видел у людей, на которых жизнь свалила ответственность без достаточных средств, отдыха и объяснений. Такие люди могут быть грубыми, но их грубость обычно похожа на плохо сшитую броню: она натирает и того, кто рядом, и того, кто её носит. Таисия сидела у окна, прижав к груди небольшой рюкзак, и на её лице не было ни подростковой обиды, ни привычного желания выиграть маленький спор. Она просто смотрела на заснеженную дорогу так, словно каждая кривая между деревьями подтверждала то, что ей давно снилось.

— Как вас зовут? — спросила Евгения мягко, обращаясь к женщине в платке.

— Нина Степановна, — ответила та после короткой паузы. — Нина Степановна Рябинина. Я при Тае... ну, опека у нас оформлена временная. Детдомовский психолог сказал, что ей лучше не в учреждении, а в семье, пока документы туда-сюда ходят. Семья, конечно, громко сказано, но как есть.

Она произнесла это с некоторой оборонительной поспешностью, словно заранее ждала от этих людей с длинными фамилиями оценки её квартиры, речи, пальто, документов и права находиться рядом с девочкой, которой теперь, по слухам, принадлежал дом. Платон отметил это не как подозрение, а как деталь: Нина Степановна не понимала правил этой игры и потому была опасна для тех, кто привык управлять правилами.

— Варвара Илларионовна знала Таисию? — спросил он.

Нина Степановна повернулась к нему резко.

— Мы её в глаза не видели. Письма какие-то были, запросы, юристы, потом этот нотариус. Я сама думала, ошибка. Вы же понимаете, сколько мошенников сейчас? Сказали: наследство. Да какое наследство сироте из областного центра? Я сначала вообще трубку бросила.

— А потом?

— Потом пришли официальные бумаги. И из опеки позвонили. И ещё женщина одна приезжала, от нотариуса, будто проверяла, настоящая ли Тая.

Арсений Павлович чуть подался вперёд.

— Женщина от нотариуса? Как её звали?

— Не помню. Вежливая такая, неприятная. Улыбалась всё время. Смотрела на Таю, будто вещь покупает.

Таисия отвела взгляд от окна.

— Она пахла сухими цветами, — сказала девочка.

— Чем? — не понял водитель.

— Сухими цветами. И пылью. Как шкаф, который давно не открывали.

В машине стало чуть тише, хотя двигатель гудел, шины шуршали по укатанному снегу, а вторая машина позади время от времени мелькала в зеркале, не давая забыть, что они едут не одни. Платон не любил придавать слишком большое значение образным словам подростков, но замечал, когда образ возникал не для красоты, а как точная сенсорная память. Запах — вещь упрямая. Его трудно придумать так, чтобы он был убедительнее воспоминания.

Дорога постепенно уходила от станции в низкий хвойный лес. Сначала по обочинам ещё попадались дома, сараи, тёмные заборы, собаки, лениво провожающие машины взглядом,

потом поселение закончилось, и вокруг остались только ели, берёзы, снег и серое небо, нависшее так низко, что казалось, ветви вот-вот начнут его царапать. Северная природа не была здесь живописной в привычном смысле; она не предлагала человеку восторга, не раскрывалась просторной красотой, не стремилась понравиться. Она смотрела на него молча, долго, почти равнодушно, как смотрят взрослые на ребёнка, который слишком громко заявляет о своей независимости в доме, где все решения уже приняты.

— Далеко ещё? — спросила Нина Степановна после получаса молчания.

— До посёлка минут сорок, — ответил водитель. — Потом до усадьбы ещё час, если лесовозы дорогу не разбили.

— А там люди живут рядом?

— Рядом? — он усмехнулся без веселья. — Смотря что считать рядом.

— Я спрашиваю нормально.

— Нормально там никто рядом не живёт. Посёлок последний, потом дорога к дому и протока. Летом ещё рыбаки бывают, грибки, да и то не особо. Зимой — только если надобность.

— А вы часто туда ездите? — спросила Евгения.

Водитель помолчал, словно решая, стоит ли отвечать этой женщине честнее, чем остальным. Платон заметил, что он смотрит на неё иначе: без фамильного раздражения, без оценивающего любопытства, с чем-то похожим на осторожное уважение. Врачей в маленьких местах часто узнают не по диплому, а по интонации.

— Когда Варвара Илларионовна жива была, ездил, — сказал он наконец. — То продукты, то лекарства, то почту. Последние годы она почти никого не принимала. Только Ферапонт Егорыч при доме, Дарья Фоминична да иногда из города люди приезжали. А так — пусто.

— Но дом содержали?

— Как могли. Там содержи не содержи, он всё равно своё возьмёт.

— Что значит «своё»? — спросил Платон.

Водитель покосился на него.

— Значит, старый дом. Трубы, крыша, печи, сырость. Что вы как маленький.

Он ответил грубо, но Платон услышал не грубость, а отступление. Люди, не желающие говорить о страхе, часто уходят в хозяйственные подробности: крыша, трубы, сырость, ремонт. Всё это безопасно. Всё это можно обсудить, не называя главного.

— А Чёрная протока? — спросил Германов голос из рации, которая неожиданно треснула на панели; видимо, вторая машина была связана с первой. — Она правда не замерзает?

Водитель выругался себе под нос, взял рацию и нажал кнопку.

— Герман Алексеевич, дорога плохая, не отвлекайте.

— То есть правда, — весело сказал Герман. — Отличное начало.

Водитель выключил звук.

— Журналист, — сказал он с таким выражением, будто назвал не профессию, а диагноз.

— Журналисты иногда полезны, — заметил Арсений Павлович. — Особенно если их вовремя запереть в архиве.

Нина Степановна фыркнула, неожиданно для себя, и тут же снова стала серьёзной. Таисия не улыбнулась. Она подняла руку и провела пальцем по запотевшему стеклу, оставив прозрачную линию, за которой лес на секунду стал отчётливее. Платон, сам не зная почему, проследил за этим движением. Линия получилась неровной, похожей на реку или трещину на гербовом щите, которую он видел на печати письма.

— Тая, — сказала Нина Степановна тихо, уже без раздражения. — Ты чего?

— Я пытаюсь вспомнить, где поворот.

— Какой поворот?

Девочка не ответила сразу. Машина поднималась на пологий холм, и лес по обе стороны дороги на мгновение расступился, открывая низину, занесённую снегом, где темнели редкие кусты и какая-то узкая линия, возможно ручей или старая канава, не до конца скрытая под настом.

— Там будет камень, — сказала Таисия. — Большой, с трещиной. После него дорога пойдёт вниз. Потом будет мост.

Водитель медленно повернул голову, хотя смотрел всё ещё на дорогу.

— Кто тебе сказал?

— Никто.

— Может, по карте смотрела? — вмешался Арсений Павлович, но его голос прозвучал менее уверенно, чем обычно.

Таисия пожала плечами.

— Я не люблю карты. На них всё мёртвое.

Через несколько минут у обочины действительно появился большой валун, наполовину занесённый снегом, с тёмной вертикальной трещиной посередине. Водитель ничего не сказал, только крепче взялся за руль. Нина Степановна побледнела и машинально поправила девочке шарф, хотя тот и так был завязан. Евгения смотрела на Таисию с тем выражением, которое Платон уже видел на лицах хороших врачей: она одновременно слушала ребёнка и себя, не позволяя ни страху, ни профессиональной привычке слишком быстро назвать происходящее.

Платон тоже не спешил с выводами. Он знал, что у любого странного факта есть несколько слоёв, и самый мистический почти всегда оказывается самым ленивым. Девочка могла видеть фотографии дороги. Могла слышать разговор взрослых. Могла запомнить описание из документов, даже не осознавая этого. Водитель мог случайно выдать направление взглядом или скоростью. Мозг умеет достраивать предсказания задним числом, и свидетели потом клянутся, что всё было сказано точно заранее. Всё это Платон знал, и всё же внутри него возникла тонкая неприятная настороженность, потому что иногда даже самые разумные объяснения не отменяют главного: человек говорит о незнакомом месте так, будто возвращается.

Дорога после валуна действительно пошла вниз. Лес стал гуще, ели приблизились к обочинам, снег на ветвях лежал тяжело, и машина несколько раз мягко скользнула на поворотах. Вторая машина держалась позади, её фары время от времени вспыхивали в зеркале, как два жёлтых глаза. Платон заметил, что водитель больше не поддерживает разговор. Его лицо стало закрытым, почти сердитым, и это тоже было показательным: страх часто маскируется раздражением, особенно у мужчин, привыкших считать себя практичными.

Первый мост оказался не через Чёрную протоку, а через узкую речку, почти полностью занесённую снегом. Деревянный наст скрипнул под колёсами, вода внизу темнела в нескольких промоинах, но ничего необычного в ней не было. Нина Степановна облегчённо выдохнула, будто сама не заметила, что ждала худшего.

— Вот и мост, — сказала она Таисии с попыткой бодрости. — Обычный мост.

— Не этот, — ответила девочка.

Водитель резко прибавил скорость, как будто хотел поскорее оставить слова позади.

Платон посмотрел на часы. До посёлка оставалось примерно полчаса, и он уже начал чувствовать, как поездка, первоначально казавшаяся переходом между городом и усадьбой, превращается в отдельное испытание. В машине не происходило ничего явного, но странство постепенно менялось. Люди говорили меньше. Каждый, казалось, прислушивался не только к разговору, но и к собственным мыслям, которые становились тяжелее по мере приближения к дому. Даже Арсений Павлович, до этого позволявший себе иронию, теперь смотрел в окно с выражением человека, узнавшего пейзаж, который хотел забыть.

Посёлок появился внезапно, после долгого лесного поворота: несколько десятков домов, низкая администрация с облупленной вывеской, магазин, остановка, старая водонапорная

башня и маленькая церковь на пригорке, белёная, с тёмной маковкой, слишком строгая для открытки и слишком одинокая для утешения. Дым поднимался из труб прямо вверх, почти не рассеиваясь, и от этого дома казались не жилыми, а временно согретыми изнутри. Машина остановилась у магазина, чтобы водитель мог забрать приготовленный для усадьбы ящик с продуктами и уточнить состояние дороги. Вторая машина припарковалась рядом, из неё вышли Герман, Мирослава и ещё двое родственников, о которых Платон пока знал только, что они принадлежат к той разновидности людей, которые в любой ситуации сначала ищут, кому здесь можно предъявить претензию.

— Десять минут, — сказал водитель. — Дальше магазинов не будет.

Пассажиры выбрались наружу, и холод сразу обступил их плотнее, чем на станции. В посёлке было тихо, но это была не тишина покоя, а тишина места, где любое постороннее движение замечают из-за занавесок. Платон видел, как в окне соседнего дома дрогнула ткань, как у магазина замолчали двое мужчин с сигаретами, как женщина у крыльца с ведром посмотрела на Таисию и быстро отвела взгляд.

Герман, явно оживившись, повернулся к Мирославе:

— Вот теперь начинается настоящая фактура. Северный посёлок, наследники, проклятая усадьба, местные молчат, водитель мрачнеет, девочка предсказывает камни. Если бы я писал роман, меня бы обвинили в чрезмерности.

Мирослава посмотрела на него спокойно.

— Возможно, вас обвиняют в ней и без романа.

Герман усмехнулся, но без обиды; он, кажется, любил людей, которые отвечали не испугом, а точностью. Платон отметил их обмен, потому что отношения между людьми часто начинают проявляться задолго до того, как сами люди понимают, какую роль сыграют друг для друга.

Евгения стояла чуть в стороне рядом с Таисией. Нина Степановна ушла в магазин купить чай и что-то «нормальное пожевать», как она выразилась, потому что продукты в усадьбе, по её мнению, могли оказаться «барские, но несъедобные». Таисия, оставшись без её плотной опеки, казалась ещё тоньше и младше, но взгляд её, наоборот, стал более сосредоточенным. Она смотрела не на магазин, не на людей, а на церковь на пригорке.

Платон подошёл ближе не сразу. Он не любил давить на свидетелей, особенно на детей, даже если формально они ещё не были свидетелями ничему, кроме собственного странного знания дороги. Он остановился рядом с Евгенией, оставляя девочке пространство для молчания.

— Вы знаете эту церковь? — спросила Евгения.

Таисия покачала головой.

— Нет.

— Но она вас заинтересовала.

— Там холодно.

Евгения чуть повернула голову к Платону. Он понял этот взгляд: она тоже услышала в ответе не описание, а ощущение.

— В церкви? — мягко уточнила она.

— Под ней, — сказала Таисия. — Или рядом. Я не знаю.

— Тая! — Нина Степановна вышла из магазина с пакетом и сразу ускорила шаг, заметив, что девочка снова говорит с чужими взрослыми. — Ты чего опять выдумываешь?

— Она не выдумывает, — произнёс кто-то за их спиной.

Голос принадлежал старой женщине, стоявшей у крыльца магазина с авоськой в руке. На ней был тёмный платок, завязанный так низко, что почти не было видно волос, а лицо, изборождённое глубокими морщинами, казалось вылепленным из той же серой, промёрзшей

земли, что и посёлок. Она смотрела на Таисию пристально, но не с любопытством, а с каким-то тяжёлым, почти сердитым сожалением.

— Что вы сказали? — спросил Платон.

Старуха перевела взгляд на него, и в этом взгляде он увидел мгновенную оценку: чужой, городской, при власти или рядом с властью, не из тех, кому здесь говорят лишнее.

— Ничего.

— Вы сказали, что она не выдумывает.

— Мало ли что старый человек скажет.

Герман тут же оказался рядом, словно возник из воздуха.

— Простите, а вы знали Варвару Илларионовну?

Старуха посмотрела на него с таким выражением, будто он предложил ей продать покойника по частям.

— Все её знали. Она нас не знала.

— А девочку?

Теперь старуха снова посмотрела на Таисию. Лицо её изменилось. Стало не мягче, нет, но как будто в нём проступила трещина, через которую на секунду показалась давняя боль.

— Эту — нет.

— А какую? — спросил Платон.

Нина Степановна крепко взяла Таисию за плечо.

— Нам ехать надо. Хватит тут.

Старуха словно не услышала её.

— В доме всё повторяется, только люди думают, что если у новых лиц другие паспорта, то и грех новый. А он старый. Очень старый.

— Вы можете объяснить? — спросила Евгения.

Старуха посмотрела на неё внимательнее, и Платону показалось, что в лице Евгении она увидела что-то, что заставило её на миг смягчиться.

— Врачиха? — спросила она.

— Да.

— Тогда лечите живых, пока они живые. Мёртвые там сами разберутся.

После этого она отвернулась и пошла прочь, медленно, но упрямо, как человек, сказавший ровно столько, сколько позволил себе сказать, и ни словом больше. Герман сделал движение, будто собирался пойти за ней, но водитель, возвращавшийся с ящиком продуктов, резко поставил его в багажник и бросил:

— Не советую.

— Почему? — спросил Герман.

— Потому что у нас старых женщин на улице не допрашивают ради московских газет.

— А ради следствия? — спокойно спросил Платон.

Водитель посмотрел на него, и между ними на мгновение возникло молчаливое понимание двух мужчин, каждый из которых знал: вопрос задан не праздню.

— Если будет следствие, тогда и поговорите, — сказал он. — А пока ехать надо. Свет короткий.

Они снова сели в машины, но теперь воздух внутри стал другим. Даже Нина Степановна, обычно охотно заполнявшая неловкость бытовыми замечаниями, молчала, прижимая пакет к коленям. Таисия закрыла глаза и откинулась на спинку сиденья; лицо её было почти спокойно, но Платон заметил, как под кожей у виска быстро бьётся жилка. Евгения смотрела на девочку с тревогой, которую тщательно не показывала, и Платону пришло в голову, что её присутствие здесь может оказаться важнее, чем предполагала сама Варвара Илларионовна. Следовательно ищет виновного, реставратор — скрытый слой, журналист — историю, наследники — право. Но врач, если он достаточно честен, ищет место, где боль перестала быть услышанной.

После посёлка дорога стала хуже. Лес сомкнулся плотнее, небо потемнело, хотя до вечера было ещё далеко, и снег пошёл мелкий, почти невидимый, такой, который не падает хлопьями, а висит в воздухе, постепенно стирая расстояния. Машина двигалась медленнее, иногда проваливалась в колеи, иногда водитель включал пониженную передачу и ругался себе под нос. Вторая машина отстала, затем снова догнала их на прямом участке. Рация молчала.

— Почему дом называется Заболотье? — спросила Евгения, больше чтобы вывести Нину Степановну из оцепенения, чем из настоящего интереса к топонимике.

Ответил Арсений Павлович:

— Потому что построен на земле, которую разумный человек не выбрал бы для постоянного жилья. Болота, протоки, слабый грунт, вечная сырость. Но первый Вельяминов-Заболотский, насколько я помню семейную легенду, получил эти земли после какой-то военной службы и решил, что если место сопротивляется, значит, его надо подчинить. В этом, в сущности, вся история рода.

— Подчинить болото? — спросила Нина Степановна.

— Болото, людей, женщин, детей, документы, память. Список можно продолжать.

Платон повернулся к нему.

— Вы довольно критично относитесь к роду, к которому принадлежите.

— Я отношусь критично к любой группе людей, которая слишком долго убеждала себя, что происхождение освобождает от последствий.

— Тогда зачем вы едете?

Арсений Павлович не ответил сразу. За окном деревья расступились, и на мгновение впереди показалось серое пространство, плоское и низкое, будто лес внезапно оборвался перед невидимой водой.

— По той же причине, что и вы, Платон Сергеевич, — сказал он наконец. — Из-за человека, которого в семье предпочли считать неудобным.

— Вы знали моего отца?

— Лично нет. Но его вопросы слышали многие.

— И многие испугались?

Арсений Павлович улыбнулся одними губами.

— В старых семьях пугаются не вопросов. Вопросы можно высмеять, заболтать, объявить неуместными. Пугаются документов.

Платон хотел уточнить, о каких документах идёт речь, но в этот момент Таисия открыла глаза и тихо сказала:

— Сейчас будет настоящий мост.

Водитель выругался уже громче, чем прежде, но не возразил.

Дорога действительно пошла вниз. Лес отступил, и впереди возникло пространство, которое сначала показалось просто широкой тенью между берегами. Потом Платон понял, что это вода. Чёрная протока лежала под серым небом узкой, вытянутой полосой, слишком тёмной для зимнего дня и слишком неподвижной для реки. По краям её сковывал снег, на прибрежных кустах висел иней, но сама вода оставалась открытой, гладкой, почти масляной, и от неё исходило ощущение не движения, а глубины. Через протоку был перекинут старый мост: деревянный наст на металлических опорах, с низкими перилами и следами недавнего ремонта. Он выглядел крепким ровно настолько, чтобы по нему можно было проехать, и ненадёжным ровно настолько, чтобы каждый пассажир в машине успел об этом подумать.

Водитель остановился перед мостом. Вторая машина затормозила позади.

— Почему стоим? — спросила Нина Степановна.

— Проверю, — ответил он коротко.

Он вышел, хлопнув дверью, и пошёл к насту, ступая осторожно, хотя, вероятно, знал каждую доску. Платон тоже вышел, не спрашивая разрешения. Холод у воды был другим, более

острым и влажным, он сразу проник под воротник, как будто протока не столько лежала внизу, сколько дышала вверх. Платон подошёл к краю дороги и посмотрел на воду. В ней не отражалось небо. Или отражалось слишком плохо. Тёмная поверхность оставалась почти сплошной, только у самых берегов шевелилась тонкая рябь, будто снизу кто-то медленно проводил рукой.

Евгения вышла следом, затем Таисия, несмотря на протест Нины Степановны. Девочка остановилась у обочины, не приближаясь к самому краю. На её лице появилось выражение, которое Платон не сразу сумел определить. Не страх. Не узнавание даже. Скорее, боль человека, который услышал давно забытый мотив и понял, что всё это время носил его внутри.

— Тая, назад в машину, — сказала Нина Степановна, уже с настоящей тревогой.

Таисия не двинулась.

— Она здесь стояла, — произнесла девочка.

— Кто?

Таисия посмотрела на воду.

— В белом платье. Только она была не старая. И не страшная.

Герман, вышедший из второй машины, застыл с телефоном в руке, но не стал сразу снимать, возможно, почувствовав, что некоторые сцены теряют смысл, если превратить их в материал слишком быстро. Мирослава стояла рядом, подняв воротник, и смотрела не на Таисию, а на противоположный берег, где за голыми кустами уже виднелась дорога к усадьбе.

Платон услышал за спиной короткий хруст снега. Это водитель вернулся от моста, но лицо его было бледнее, чем минуту назад.

— Проехать можно, — сказал он. — Только по одному. Без остановок.

— Что-то случилось? — спросил Платон.

— Ничего.

— Вы опять говорите «ничего» так, будто это местная форма признания.

Водитель зло посмотрел на него, но потом всё-таки кивнул в сторону первой опоры моста.

— Там следы.

— Чьи?

— Босые.

Они подошли ближе. На снегу у начала моста действительно были отпечатки ног. Маленькие или женские, без обуви, с чёткими пальцами, уже слегка присыпанные свежим снегом, но всё ещё различимые. Следы шли от края воды к мосту и обрывались на первой доске настила, где снег был счищен колёсами и ветром. Платон присел, не касаясь отпечатков, и почувствовал, как в нём включается рабочая часть сознания: размер, направление, давность, температура, возможность подделки, доступ, свидетели. Следы могли оставить недавно. Могли сделать специально. Кто-то мог пройти босиком от машины, от посёлка, от берега. Физически это было возможно, хотя при таком морозе и без дальнейшей цепочки отпечатков выглядело странно.

— Не подходите, — сказал он остальным.

— Почему? — спросил Герман слишком быстро.

— Потому что если это следы, а не чья-то глупая шутка, вы их сейчас затопчете.

Слово «шутка» прозвучало почти издевательски на фоне чёрной воды, старого моста и девочки, которая всё ещё смотрела на противоположный берег. Нина Степановна подошла к Таисии и крепко взяла её за руку.

— Всё, в машину. Мне это не нравится.

— Ей тоже не нравилось, — сказала Таисия.

— Кому ей?

Девочка не ответила. Она позволила увести себя, но перед тем как сесть в машину, вдруг обернулась к Платону. В её глазах было не детское любопытство и не просьба о защите, а какая-то тяжёлая, почти взрослая ясность.

— Они не туда смотрят, — сказала она.

— Кто?

— Все.

— А куда нужно смотреть?

Таисия перевела взгляд на протоку.

— Не на воду. Под неё.

Платон почувствовал, как внутри него, очень глубоко, там, где память об отцовском голосе давно покрылась привычной коркой скепсиса, что-то болезненно сдвинулось. «Если она соберёт их всех, значит, пришло время смотреть не на воду, а под неё». Фраза с оборота фотографии вдруг перестала быть семейным посланием и стала ответом, произнесённым ребёнком, который не мог его знать.

Он ничего не сказал. Только поднялся, отряхнул снег с перчатки и посмотрел на противоположный берег, где за голыми деревьями, за поворотом дороги, за серым дыханием зимнего леса должен был стоять дом.

Машины переезжали мост по одной. Доски глухо стонали под колёсами, вода внизу оставалась тёмной и неподвижной, а Платон, сидя на переднем сиденье, смотрел прямо перед собой и лет ясно почувствовал присутствие отца не как воспоминание, не как портрет на кладбищенской фотографии, не как неразобранную папку в шкафу, а как вопрос, который всё это время ждал места, где его можно будет задать вслух.

За мостом дорога поднялась вверх, лес расступился, и впереди, на холме над протокой, показалась усадьба.

Дом на Чёрной протоке был больше, чем казался на фотографиях, и тяжелее, чем позволяла представить любая семейная легенда. Длинный фасад с тёмными окнами смотрел на подъездную дорогу без приветствия и без враждебности, с холодным терпением старого существа, пережившего слишком много хозяев, чтобы радоваться новым. Снег лежал на крыше, на широких ступенях, на каменных вазах у входа, но парадная дверь была открыта.

Не распахнута настежь, не приоткрыта ветром, а открыта ровно настолько, чтобы стало ясно: внутри их ждали.

## Глава 4

### Девочка без прошлого



Таисия увидела дом раньше остальных не потому, что сидела ближе к окну или внимательнее смотрела на дорогу, а потому, что он, как ей показалось, возник не впереди, за поворотом, а внутри неё, в том самом месте памяти, которое не принадлежало её настоящей жизни и потому всегда казалось ей особенно страшным. Сначала из-за снегового марева проступила крыша, тяжёлая, белая, будто придавленная небом, потом — тёмная линия фасада, ряды окон, каменные ступени, две мёртвые вазы у входа и парадная дверь, открытая ровно настолько, чтобы человек, подъезжающий к усадьбе, успел почувствовать себя не гостем, а тем, кого слишком долго ждали и теперь безмолвно проверяют: пришёл ли он сам или его всё-таки привели.

Машина медленно поднялась по подъездной дороге, огибая старые липы, чьи стволы давно перестали быть ровными и благородными, растрескались, почернели, покрылись наростами, но всё ещё стояли в два ряда, как стража, которая пережила своих господ и теперь несёт службу уже не по приказу, а по привычке. Снег лежал на ветвях так плотно, что каждое дерево

казалось седым, и в этой седине было что-то не зимнее, а старческое, неподвижное, почти укоризненное. Таисия смотрела на них через мутное стекло и чувствовала, как в груди медленно сжимается то, чему она не знала названия: не страх, потому что страх обычно смотрит вперёд, пытаясь угадать опасность, а это чувство, наоборот, тянуло назад, к чему-то уже случившемуся, к боли, которая не могла принадлежать ей по возрасту и всё же отзывалась в теле так убедительно, будто девочка когда-то уже бежала между этими деревьями, задыхаясь от холода и не смея оглянуться.

Рядом Нина Степановна бормотала что-то практическое: про чемодан, про то, что надо сразу узнать, где их поселят, про горячий чай, про нормальную еду, про то, что все эти старые дома красивы только на картинках, а жить в них невозможно, потому что сырость, сквозняки, мыши и обязательно какая-нибудь дурацкая лестница, на которой порядочный человек свернёт себе шею. Таисия слышала её голос как сквозь воду. Этот голос всегда был для неё чем-то вроде грубой, но настоящей верёвки, привязанной к обычной жизни: к коммунальной кухне, где пахло жареным луком и порошком для стирки, к потрескавшейся клеёнке на столе, к телевизору, слишком громкому по вечерам, к Нининому раздражённому «Тая, ешь, пока горячее», в котором заботы было больше, чем нежности, потому что нежность Нина Степановна считала роскошью, доступной людям с деньгами, здоровыми нервами и нормальными семьями. Но теперь даже этот голос не мог удержать Таисию полностью. Дом уже смотрел на неё.

Он был не таким, каким она видела его во снах. Во снах он часто стоял в летнем сумраке, с влажными стенами, заросшей травой, тёплым запахом земли и цветущей липы, с открытыми окнами, за которыми колыхались занавески, хотя внутри никого не было. Иногда снился зимой, но тогда снег был голубой, почти светящийся, а у протоки стояла женщина, и подол её белого платья темнел от воды. Сейчас дом был реальнее, грубее, тяжелее. На фасаде облупилась штукатурка, внизу на цоколе проступали бурые пятна сырости, одно окно второго этажа было заклеено крест-накрест бумажной лентой, как после старой трещины, а у входа стоял человек в тёмной ватной куртке и меховой шапке, высокий, сутуловатый, с лицом настолько неподвижным, что сначала Таисия приняла его за часть дома, за ещё одну вертикальную тень у двери.

— Ферাপонт Егорович, — сказал водитель, заглушив двигатель, и в его голосе прозвучало облегчение человека, который довёз пассажиров до места и теперь надеется переложить их на того, кому этот дом ближе и потому опаснее.

Мужчина у входа спустился на две ступени. Он не торопился. Старые люди вообще часто двигаются медленнее не потому, что им трудно, а потому что у них уже нет потребности доказывать своё право занимать пространство; но в Ферапонте Егоровиче была не старческая медлительность, а осторожность человека, который много лет служил дому и научился не делать резких движений там, где стены могут услышать больше, чем следует. Когда он подошёл к машине, Таисия увидела его лицо: морщинистое, обветренное, с тяжёлыми веками и глазами, в которых почти не было любопытства. Он смотрел на приехавших как на тех, чьи имена давно знал, но чьего появления не хотел.

Дверцы машин открывались одна за другой, люди выходили на снег, поправляли пальто, вытаскивали сумки, переговаривались вполголоса, и всё это обычное суетливое движение казалось странно лишним перед лицом усадьбы, которая не нуждалась в их голосах, чтобы признать каждого. Герман Алексеевич первым поднял телефон, будто собирался сделать снимок, но под взглядом Ферапонта Егоровича опустил руку с той лёгкой насмешливой улыбкой, какую люди используют, когда не хотят показать, что их остановили. Мирослава Юрьевна, наоборот, не фотографировала; она просто стояла, медленно переводя взгляд с карнизов на колонны, с колонн на трещины у окон, и в её внимании было что-то почти интимное, словно она читала тело дома, замечая не только разрушения, но и следы прежней красоты, стёртой не временем, а чьей-то долгой нелюбовью. Арсений Павлович вышел последним, застегнул перчатки и

посмотрел на фасад так, будто проверял, изменился ли дом с тех пор, как однажды в детстве испугал его до бегства.

Платон Сергеевич подошёл к Ферапонту Егоровичу первым. Они обменялись несколькими сухими фразами, в которых было больше взаимной оценки, чем приветствия: кто приехал, где нотариус, когда оглашение, где разместят людей, исправна ли связь, есть ли врач в посёлке. Платон говорил спокойно, но Таисия уже заметила, что его спокойствие не похоже на равнодушие. Он всё время смотрел по сторонам, отмечал вход, окна, дорожки, следы на снегу, положение машин, лица людей, и это делало его похожим на человека, который даже в гостях не перестаёт искать выходы и причины.

Евгения Аркадьевна стояла чуть в стороне. Таисия чувствовала её присутствие особенно остро, хотя они почти не разговаривали. Эта женщина не смотрела на неё так, как смотрели другие взрослые: не с любопытством, не с жалостью, не с раздражённой опекой и не с той скрытой жадностью, которую Таисия уже научилась узнавать в людях, интересующихся её внезапным наследством. Евгения смотрела иначе, будто видела одновременно девочку, испуганную дорогу, холод, усталость, и ещё что-то за всем этим, но пока не позволяла себе назвать увиденное. Именно это неназывание почему-то успокаивало сильнее прямого сочувствия.

— Прошу в дом, — сказал наконец Ферапонт Егорович, и голос его был глухим, низким, с северной протяжностью, в которой слова будто проходили через снег, прежде чем выйти наружу. — Дарья Фоминична ждёт. Комнаты приготовлены. Нотариус прибудет к вечеру, если дорога не встанет.

— Парадная дверь у вас всегда открыта? — спросил Платон, глядя на створку, оставленную приоткрытой.

Ферапонт Егорович не сразу ответил. Он повернулся к двери, как будто сам только сейчас заметил, что она не закрыта, хотя Таисия была уверена: он знал это с самого начала.

— Сегодня открыта, — сказал он.

— По какой причине?

— По хозяйской воле.

— Хозяйка умерла.

— Воля осталась.

Герман усмехнулся, но тихо, почти осторожно. Платон не стал продолжать, однако Таисия увидела, как он запомнил ответ. Взрослые часто думают, что дети не понимают таких вещей, но Таисия давно знала: люди запоминают важное не только глазами и ушами, но и тем, как после услышанного меняется их молчание.

Когда они поднялись по ступеням, снег под ногами заскрипел сухо и неприятно, хотя у самой двери, в тени портика, он был почему-то влажнее, темнее, словно сюда недавно принесли воду. Таисия задержала взгляд на камне у порога. Там не было чётких следов, только расплывчатая темноватая полоса, похожая на мазок от мокрого подола. Нина Степановна подтолкнула её в спину, и девочка шагнула внутрь.

Дом пахнул сразу всем: холодным деревом, старой пылью, воском, печным дымом, сыростью, лекарствами, тканью, слишком долго пролежавшей в сундуках, и ещё чем-то тонким, сладковато-горьким, похожим на высохшие цветы. Таисия остановилась так резко, что Нина Степановна чуть не налетела на неё сзади. Этот запах она уже знала. Он был у женщины, которая приезжала к ним от нотариуса и смотрела на неё как на вещь, которую нужно сверить с описанием. Только здесь запах был не на человеке, а в стенах, будто дом много лет выдыхал его понемногу и теперь, впустив людей, позволил им ощутить собственную старость.

Парадный холл был огромен и темнее, чем полагалось днём. Высокие окна пропускали мутный зимний свет, но он не разгонял тень, а только показывал её слои: на лестнице, в углах, под портретами, между резными перилами, в глубине коридора, уходившего направо. На стенах висели картины в потемневших рамах, лица мужчин и женщин с длинными носами,

тяжёлыми веками, белыми руками и выражением воспитанной недоброжелательности, с каким старые портреты смотрят на потомков, если не уверены, что те заслужили право называться потомками. Над лестницей, там, где свет падал чуть сильнее, висел большой портрет в золотой раме, закрытый тенью так, что различить лицо было невозможно. Мирослава Юрьевна сразу подняла к нему глаза и замерла, но ничего не сказала.

В холле стояла старая женщина в чёрном платье и шерстяной кофте, маленькая, сухая, с прямой спиной и лицом, на котором горе уже успело стать обязанностью. Она держала руки сцепленными перед собой, и пальцы её были красными, узловатыми, но очень чистыми. Это была Дарья Фоминична. Таисия поняла это до того, как Ферапонт Егорович назвал её, потому что именно такая женщина должна была жить в доме, где слишком долго хранили чужие вещи: незаметная, упрямая, не госпожа и не служанка, а часть внутреннего механизма, без которой всё давно остановилось бы.

— Добро пожаловать, — сказала Дарья Фоминична, но слова прозвучали не как приветствие, а как начало церемонии, которую она обязана была провести правильно, даже если не верила, что в ней есть добро. — Варвара Илларионовна распорядилась принять всех.

— Очень любезно с её стороны, учитывая обстоятельства, — заметил Герман.

Старая женщина посмотрела на него так, что он снова улыбнулся, но уже слабее.

— Обстоятельства здесь давно не меняют распоряжений, Герман Алексеевич.

Он чуть склонил голову, признавая удар. Таисия подумала, что Дарья Фоминична знает их всех. Не просто имена из списка. Что-то большее. Возможно, Варвара Илларионовна перед смертью рассказывала ей о каждом, а возможно, дом сам как-то сообщил старой женщине, кто войдёт и с какой тенью за плечами.

— А это... — Дарья Фоминична повернулась к Таисии.

Она не закончила фразу. Её лицо, и без того бледное, изменилось так, будто ей стало больно не телом, а памятью. Взгляд старухи остановился на Таисии, прошёл по её лицу, волосам, рукам, рюкзаку, снова вернулся к глазам, и на мгновение Таисии показалось, что сейчас её назовут другим именем. Не тем, которым она привыкла откликаться. Не тем, что было написано в её документах. Старым. Чужим. Невозможным.

— Таисия Сергеевна, — поспешно сказала Нина Степановна, словно защищая девочку от этого молчания. — Она устала с дороги. Нам бы комнату, если можно.

Дарья Фоминична медленно моргнула, будто вернулась издалека.

— Да. Конечно. Простите.

В её «простите» было столько неподдельного смятения, что даже Нина Степановна, обычно быстро закипавшая от чужой странности, не стала отвечать резко. Евгения это заметила. Платон тоже. Таисия почувствовала их внимание, но не обернулась. Ей было трудно стоять в холле, потому что дом действовал на неё не как новое место, где нужно освоиться, а как давно забытое слово, которое кто-то медленно произносит рядом с ухом, и ты узнаёшь его смысл раньше, чем звук.

— Комнаты распределены согласно распоряжению Варвары Илларионовны, — сказала Дарья Фоминична, уже собравшись. — Евгения Аркадьевна — в синей гостевой, Платон Сергеевич — в кабинете покойного Михаила Андреевича, Арсений Павлович — в восточной спальне, Мирослава Юрьевна — рядом с галереей, Герман Алексеевич — в комнате над библиотекой. Таисия Сергеевна...

Она снова запнулась.

— Что? — спросила Нина Степановна. — Ей отдельная комната? Я с ней буду. Она несовершеннолетняя.

— Вам приготовлена комната рядом, Нина Степановна. Через дверь.

— Через какую ещё дверь?

— Смежную.

— А сама она где?

Дарья Фоминична опустила глаза.

— В детской.

В холле стало ощутимо тише. Слово было самым обычным, но в этом доме оно, казалось, не могло быть обычным. Детская. Закрытое крыло. Плач по ночам. Девочка, которой достался дом. Платон чуть повернул голову к Арсению Павловичу, и тот сделал вид, что смотрит на перчатки, но лицо его на мгновение стало жёстче. Мирослава подняла глаза от портрета над лестницей. Герман открыл рот, вероятно готовый сказать что-то остроумное, но передумал. Евгения смотрела только на Таисию.

Нина Степановна первой нарушила молчание.

— Нет. В детскую мы не пойдём.

— Нина Степановна, — тихо сказала Таисия.

— Что «Нина Степановна»? Не пойдём, и всё. Я не знаю, что у вас тут за порядки, но ребёнка после дороги селить в какую-то детскую, про которую все так молчат, будто там покойник лежит, я не позволю.

— Там никто не лежит, — сказала Дарья Фоминична.

— Ой, спасибо, успокоили.

— Нина Степановна, — снова сказала Таисия, и теперь в голосе её было что-то такое, от чего женщина замолчала. — Я знаю, где она.

— Кто?

— Комната.

Таисия сама не ожидала, что произнесёт это вслух. Слова вышли тихо, но сразу стали общими. Она почувствовала, как на неё посмотрели почти все. Даже портреты, казалось, смотрели внимательнее. Нина Степановна медленно повернулась к ней, и в её лице отразилось то же мучительное смешение любви, раздражения и страха, которое появлялось всякий раз, когда Таисия говорила что-нибудь «не такое» при чужих.

— Не начинай, — прошептала она. — Пожалуйста, Тая, не здесь.

Но Таисия уже смотрела на лестницу. Её правая рука сама поднялась к перилам, хотя она стояла ещё далеко от первой ступени. Она знала, что нужно подняться, пройти мимо большого портрета, повернуть налево, потом по коридору с окнами в сад, где на третьем окне будет трещина в стекле, похожая на ветку, потом ещё одна дверь, низкая, не парадная, а почти служебная, и за ней запах пыли, старого белья и чего-то сладкого, как засохшее варенье. Она знала это так ясно, что от ясности начинала кружиться голова.

— Она наверху, — сказала Таисия. — Слева. Только дверь не та, которая первая. Первая не открывается. Надо дальше.

Дарья Фоминична побледнела снова, но на этот раз не отвела глаз.

— Кто тебе сказал?

Вопрос был задан без «вы». Просто, прямо, почти грубо, и от этой прямоты Таисии стало легче. Она устала от взрослых, которые делали вид, что ничего не происходит, пока их лица выдавали обратное.

— Никто.

— Ты здесь была?

Нина Степановна резко вмешалась:

— Не была она здесь. Сколько можно? Я же говорю, мы сами не знали ни про какой дом, пока бумажки не пришли.

— Я спрашиваю её, — сказала Дарья Фоминична, и в её голосе вдруг прозвучала такая старая власть, что Нина Степановна осеклась.

Таисия посмотрела на старуху и почувствовала, что лгать нельзя. Не потому, что её поймут, а потому, что дом услышит ложь и запомнит.

— Я не была здесь сейчас, — сказала она. — Но я знаю, куда идти.

Ферапонт Егорович, до сих пор стоявший у двери молча, перекрестился едва заметно, как человек, который делает это не напоказ, а потому что тело помнит движение раньше головы.

— Хватит, — произнёс Платон Сергеевич спокойно, но твёрдо. — Девочка устала. Давайте сначала разместимся, потом будем обсуждать, кто что знает.

— Разумное предложение, — поддержала Евгения.

Её голос был мягким, но в нём чувствовалась опора. Таисия вдруг ощутила благодарность, хотя не привыкла к этому чувству по отношению к незнакомым взрослым. Благодарность опасна: она быстро становится надеждой, а надежда, если её уронить, бьётся сильнее недоверия.

Дарья Фоминична кивнула и подозвала молодого парня, видимо помощника при доме, чтобы тот внёс багаж. Люди начали двигаться, и оцепенение холла распалось на обычные действия: кто-то снимал перчатки, кто-то спрашивал про связь, кто-то уточнял, где можно умыться, Герман всё же сделал несколько фотографий, стараясь делать это незаметно, но не умея быть незаметным. Мирослава медленно подошла к лестнице и остановилась у портрета над ней, теперь уже совсем открыто рассматривая тёмную живопись.

— Поздний слой, — сказала она негромко.

— Что? — спросил Герман, тут же оказавшись рядом.

— Портрет переписан. Лицо, возможно, тоже. Видите вот здесь, у виска? Краска лежит иначе.

— Вы это отсюда видите?

— Я это отсюда подозреваю. Видеть буду, когда дадут свет и разрешение.

— А если под ним окажется скелет семейной тайны?

Мирослава посмотрела на него без улыбки.

— Скелеты обычно не под портретами. Они под тем, что решили сохранить красивым.

Таисия услышала эту фразу, уже поднимаясь по лестнице, и почему-то запомнила. Ступени были широкими, тёмными, натёртыми до тусклого блеска в середине и чуть поскрипывали под ногами. Перила под ладонью оказались холодными, гладкими, словно их долго трогали люди, которых уже нет. На площадке между этажами висело окно с видом на сад и дальше, если приглядеться, на тёмную полоску протоки. Таисия старалась не смотреть туда, но взгляд всё равно скользнул к воде. Протока лежала неподвижно. И всё же ей показалось, что у самого берега стоит светлое пятно. Она моргнула. Пятно исчезло или стало частью снега.

На втором этаже воздух был холоднее. Здесь дом казался менее обжитым, звуки снизу быстро глохли, и каждый шаг по коридору отзывался в стенах осторожным, запоздалым шорохом. Дарья Фоминична шла впереди, держа связку ключей, хотя Таисия знала: нужная дверь не потребует ключа. Нина Степановна шла рядом с девочкой, то и дело поправляя ей воротник, касаясь плеча, проверяя, не отстала ли, и эта суетливая забота, обычно раздражавшая, теперь была почти спасительной.

— Вот ваша комната, Нина Степановна, — сказала Дарья Фоминична, открывая дверь направо. — А Таисии Сергеевне рядом.

— Я сначала посмотрю, — заявила Нина Степановна.

— Конечно.

Они прошли ещё несколько шагов. Таисия уже знала, что сейчас будет поворот, окно с трещиной, узкая дверь и запах. Всё совпало. Третье окно действительно было надтреснуто, и трещина на стекле напоминала тонкую ветку или молнию, застывшую внутри прозрачного льда. За окном стоял сад, и одна ветвь старой липы почти касалась стекла, будто когда-то пыталась войти в дом, но остановилась.

Дверь в детскую была окрашена светлой краской, пожелтевшей от времени. На уровне детской руки, чуть ниже ручки, виднелась царапина, длинная и неровная. Таисия не хотела

смотреть на неё, но посмотрела и вдруг почувствовала резкую, почти телесную уверенность: это не царапина от мебели, не след от ключа, не случайный скол. Так царапают дверь ногтями, если стоят по другую сторону и очень хотят выйти.

— Дверь давно не открывали? — спросила Евгения.

Таисия обернулась. Она не слышала, как женщина поднялась за ними, но та стояла в нескольких шагах вместе с Платоном Сергеевичем. Видимо, оба решили сопровождать их, не называя это сопровождением.

— Открывали, — сказала Дарья Фоминична. — Перед приездом. Убрали, протопили.

— А до этого?

Старая женщина вставила ключ, хотя Таисия уже знала, что замок не заперт, просто ключ нужен людям, чтобы им было легче поверить в порядок.

— Давно, — ответила Дарья Фоминична.

Дверь открылась мягко, без скрипа, как будто ждала не годы, а минуты.

Комната была большой, но низкий зимний свет делал её меньше, чем она была на самом деле. У окна стояла узкая кровать с белым покрывалом, рядом — старый письменный стол, детский шкаф, кресло с вышитой спинкой, полка с несколькими книгами и фарфоровая лошадка на комод. На полу лежал ковёр с выцветшим узором, в котором когда-то, наверное, были красные и синие цветы, но теперь они стали тусклыми, почти коричневыми. Всё выглядело тщательно убраным, слишком тщательно, как убирают не комнату для живого ребёнка, а место, которое боятся потревожить. Воздух был тёплым от печи, но под этим теплом всё равно сохранялась глубокая, старая прохлада.

Таисия вошла первой.

Ей хотелось сказать, что она не будет здесь спать, что ей всё равно, что написала покойная хозяйка, что она не просила ни дома, ни денег, ни этих людей, ни взгляда Дарьи Фоминичны, ни молчаливого внимания Евгении, ни вопросов Платона. Но комната не испугала её так, как она ожидала. Она вызвала не ужас, а странную печаль, такую плотную и взрослую, что Таисия вдруг почувствовала себя совсем маленькой. Здесь ждали ребёнка. Не её, может быть. Не сейчас. Но ждали. И ждали так долго, что ожидание стало частью мебели, запаха, света, пыли на книгах, складки покрывала.

— Нормальная комната, — сказала Нина Степановна слишком громко. — Даже ничего. Только занавески бы постирать.

Дарья Фоминична посмотрела на неё, но промолчала.

Таисия подошла к столу. На нём лежал чистый лист бумаги и карандаш, заточенный так остро, будто его приготовили для первого урока. Она коснулась карандаша пальцами и вдруг увидела — не глазами, нет, а где-то внутри — маленькую руку, пишущую на таком же листе буквы, неровные, старательные, с кляксами, и услышала чей-то шёпот: «Не пиши имя. Если напишешь, они найдут». От неожиданности она отдёрнула руку.

— Что случилось? — спросила Евгения.

— Ничего.

Слово вышло чужим. Таисия вдруг поняла, почему взрослые так часто говорят «ничего» в этом доме. Здесь оно не означало отсутствие события. Здесь оно означало место, куда событие прячут.

Платон подошёл к окну и посмотрел вниз, во двор. Отсюда были видны машины, ступени, часть подъездной дороги и дальний край сада. Он не комментировал, но Таисия заметила, как его взгляд задержался на том месте у порога, где темнела влажная полоса. Потом он повернулся к комнате и осмотрел её с той же спокойной точностью: дверь, окно, шкаф, печь, второй выход.

— Смежная дверь где? — спросил он.

Дарья Фоминична указала на дверь в боковой стене.

— Там комната Нины Степановны.

— Она закрывается с обеих сторон?

— Да.

Нина Степановна тут же подошла и проверила ручку, словно эта простая возможность закрыть дверь могла вернуть ей контроль над происходящим.

— Я буду рядом, — сказала она Таисии. — Слышишь? Сразу стучи.

Таисия кивнула, хотя знала, что ночью, если что-то случится, стучать будет не она.

В этот момент снизу донёлся голос Германа, потом смех одного из родственников, потом звук закрывающейся двери, и комната на мгновение снова стала обычной: старой детской в старом доме, куда приехали уставшие люди после долгой дороги. Евгения предложила дать Таисии отдохнуть, Дарья Фоминична сказала, что чай будет через полчаса в малой гостиной, Платон вышел последним, задержавшись у порога чуть дольше остальных. Он посмотрел на царапину на двери. Таисия видела это. Он тоже видел, что она видит.

Когда дверь закрылась, в комнате остались только Таисия и Нина Степановна. Несколько секунд они молчали. Нина Степановна сняла шапку, провела ладонью по волосам и вдруг села на край кровати так тяжело, будто вся её решительность закончилась разом.

— Тая, — сказала она уже другим голосом, не сердитым, а усталым. — Ты только не пугай меня, ладно? Я и так ничего не понимаю. Мне сказали: отвезти, быть рядом, следить за документами, не подписывать без юриста. Я умею ругаться с опекой, с соседями, с врачами, с сантехниками, но с покойными барынями и их домами я не умею.

Таисия за день почти улыбнулась.

— Я тоже не умею.

— Вот и договорились. Будем не уметь вместе.

Нина Степановна поднялась, подошла к чемодану, начала доставать вещи, ворча, что шкаф старый, в нём наверняка нафталин, и вообще надо было взять ещё один свитер. Эта бытовая ворчливость заполнила комнату, как тёплый пар, и Таисия позволила себе на несколько минут притвориться, будто всё действительно можно свести к свитерам, занавескам и плохим дорогам. Она сняла куртку, положила рюкзак на стул, подошла к окну.

Сад за стеклом был неподвижен. Снег на ветках, серый свет, дальняя полоса протоки между деревьями. Дом, если смотреть изнутри, казался не менее тревожным, чем снаружи, потому что теперь в каждом окне чувствовался чей-то возможный взгляд. Таисия прижала пальцы к холодному стеклу, и на запотевшей поверхности остались пять светлых овалов.

Позади Нина Степановна открыла шкаф и тут же чихнула от пыли.

— Ну конечно, — сказала она. — Говорила же, занавески стирать надо.

Таисия не ответила. Её внимание привлекло другое. На стекле, чуть ниже её пальцев, проступала тонкая линия, которой секунду назад не было. Сначала она подумала, что это трещина или след от льда, но линия медленно сложилась в букву. Потом во вторую. Потом в третью. Не снаружи и не изнутри, а как будто из самого запотевшего стекла проявлялось слово, написанное чьим-то пальцем раньше, чем Таисия подошла к окну.

«ВЕРНУЛАСЬ».

Она не отдернулась. Не закричала. Даже не позвала Нину Степановну. Смотрела на слово, пока оно не начало расплываться от её дыхания, и чувствовала, как внутри неё поднимается не страх, а странная, тяжёлая обида, будто её обвинили в том, чего она не совершала.

— Я не возвращалась, — прошептала она почти беззвучно. — Я приехала .

Слово на стекле дрогнуло, растаяло, снова превратилось в влажный мутный след.

Нина Степановна обернулась.

— Ты что сказала?

Таисия опустила руку.

— Ничего.

И это «ничего», произнесённое ею в детской старого дома на Чёрной протоке, прозвучало так, будто дом принял её в свой язык.

## Глава 5

Берег, где вода не замерзает



К вечеру дом начал принимать их по-настоящему, не тем внешним, почти церемониальным образом, когда старые двери распахиваются перед гостями, багаж разносят по комнатам, на стол ставят чайник, а прислуга или те, кто остался вместо прислуги, произносят положенные слова о дороге, погоде и распоряжениях покойной хозяйки, а иначе, глубже и незаметнее, как принимает человека место, которое сначала позволяет ему снять пальто, согреть руки, сделать вид, будто всё происходящее можно объяснить усталостью, а потом медленно начинает подсовывать ему такие подробности, от которых привычная картина мира делается чуть кривее.

Малая гостиная, куда Дарья Фоминична пригласила всех к чаю, располагалась в правом крыле первого этажа и, несмотря на своё название, оказалась просторной комнатой с высоким потолком, двумя окнами в сторону сада, книжными шкафами по стенам и камином, в котором огонь горел неровно, с глухим потрескиванием, будто дрова были сырыми и сопротивлялись теплу. Здесь когда-то, вероятно, собирались после обеда, играли в карты, читали вслух французские романы, спорили о земстве, браках, долгах, ремонте крыши и тех бесчисленных

семейных делах, которые в старых домах умеют выглядеть важнее человеческих чувств. Теперь комната казалась одновременно обжитой и покинутой: на столе стоял свежий самовар, рядом лежали чистые салфетки, тарелка с сухим печеньем, варенье в хрустальной вазочке, чашки тонкого фарфора с потёртой позолотой, но в углах держалась давняя пыльная тень, а кресла, расставленные у камина, выглядели так, словно уже запомнили другие тела и неохотно принимали новых людей.

Таисия пришла последней, вместе с Ниной Степановной, которая перед этим успела проверить комнату, смежную дверь, замок, окно, батарею, печь и даже пространство под кроватью, после чего заявила, что жить можно, если не думать, сколько поколений мышей успело умереть в стенах. Девочка держалась тихо, но не сонно; наоборот, в её бледном лице появилось то напряжённое внутреннее бодрствование, которое Евгения слишком хорошо знала по пациентам, оказавшимся в месте, где психика больше не может позволить себе расслабиться. После слова на стекле Таисия не сказала ничего, и именно это молчание было тревожнее любого рассказа. Она не искала взгляда Евгении, не пыталась убедить Нину Степановну, не выглядела испуганной настолько, чтобы за ней пришлось немедленно следить, но в ней появилась осторожность человека, которому дали понять: его внутренний язык теперь совпадает с языком дома, и каждое произнесённое слово может оказаться не только его собственным.

Евгения сидела у окна, ближе к свету, хотя света уже почти не осталось. За стеклом сад постепенно уходил в синеватую зимнюю темноту, и только стволы лип, занесённые снегом, ещё различались как смутные вертикали, а дальше, за ними, угадывалась протока, не видимая прямо, но присутствующая в пространстве с той настойчивостью, с какой присутствует человек, о котором все договорились пока не говорить. Она смотрела на Таисию и старалась не превращать каждое её движение в материал для наблюдения, потому что понимала: девочка и так слишком долго жила под чужими взглядами, оценивающими, проверяющими, исправляющими, решающими, нормальна ли она, удобна ли, достаточно ли благодарна, чтобы заслужить место рядом с взрослыми. Но профессиональная часть сознания не отключалась. Таисия села не спиной к двери, а боком, так, чтобы видеть вход и окно одновременно; чашку взяла обеими руками, хотя чай был не настолько горячим; на слово «завещание», которое несколько раз прозвучало в разговоре, не отреагировала, зато вздрогнула, когда в камине осыпалось полено. Не патология. Не доказательство. Только линии напряжения, по которым однажды можно будет понять, где именно проходит её страх.

Платон Сергеевич стоял у книжного шкафа, не снимая внутренней собранности даже в тёплой комнате. Чашка в его руке оставалась почти полной. Он разговаривал мало, но его молчание не было отсутствием участия; скорее, он позволял другим говорить первыми, а сам заминал не столько слова, сколько порядок, в котором люди выбирают, что показать и что спрятать. Герман Алексеевич, напротив, говорил охотно, перебрасываясь замечаниями с Арсением Павловичем и время от времени обращаясь к Мирославе Юрьевне, которая отвечала редко, но всякий раз так точно, что его улыбка становилась чуть напряжённее. Дальние родственники, приехавшие с ними, держались особняком: сухошавая Ирина Ростиславовна Салтыкова-Ланская, внучатая племянница какой-то забытой ветви, и её брат Олег Ростиславович, человек с лицом бывшего чиновника, привыкшего к тому, что мир должен быть составлен из понятных процедур, где каждый предмет имеет инвентарный номер, а каждое право — основание. Они оба явно были недовольны тем, что после долгой дороги их не немедленно посвятили в содержание завещания, но пока сдерживались, потому что старый дом, фамильные портреты и присутствие покойной хозяйки, невидимое, но осязаемое, заставляли даже раздражение вести себя прилично.

— Я всё же не понимаю, почему оглашение нельзя было провести в городе, — сказала Ирина Ростиславовна, беря печенье двумя пальцами, как будто оно тоже принадлежало к

сомнительному наследству. — Варвара Илларионовна всегда любила сложные жесты, но после смерти, мне кажется, можно было бы проявить больше практичности.

— После смерти люди редко меняют характер, — заметил Арсений Павлович. — Особенно такие люди, как Варвара Илларионовна.

— Вы были с ней близки? — спросила Мирослава.

— Нет. В нашей семье близость вообще считалась невежливым способом получения информации.

Герман тихо рассмеялся.

— Прекрасная формулировка. Можно я украду?

— Вы всё равно украдёте, если сочтёте нужным.

— Зависит от того, насколько красиво вы будете сопротивляться.

— Господа, — сухо сказала Ирина Ростиславовна, — может быть, хотя бы за первым чаем в доме покойной мы обойдёмся без журналистского балагана?

Герман наклонил голову с вежливым сожалением, но глаза его оставались живыми, почти веселыми. Он явно любил раздражать людей, потому что раздражённый человек быстрее сбрасывает маску, а для журналиста, особенно такого, который привык охотиться не за фактами, а за трещинами в чужой респектабельности, это было почти профессиональной методикой.

Дарья Фоминична стояла у буфета, хотя Евгения несколько раз предлагала ей сесть. Старая женщина отвечала, что ей удобнее так, и продолжала следить за чашками, кипятком и тарелками с той внимательностью, в которой было слишком много внутреннего напряжения для простого гостеприимства. Она не вмешивалась в разговор, но при каждом упоминании Варвары Илларионовны её лицо едва заметно менялось, как меняется поверхность воды, если где-то далеко под ней проходит рыба. Ферапонт Егорович не вошёл в гостиную; он появился на пороге только один раз, сказал, что машины поставлены во двор, мост держится, но к ночи снег усилится, и исчез в коридоре, оставив после себя запах мороза, табака и сырой шерсти.

— Кстати о мосте, — сказал Герман, явно решив, что молчание нужно снова подтолкнуть. — Следы у протоки — это местная традиция? Туристическая приманка? Или кто-то очень старательно готовился к нашему приезду?

Олег Ростиславович поднял голову.

— Какие следы?

— Босые. На снегу. У моста. Наш водитель сделал вид, что это не заслуживает внимания, но я бы не сказал, что босые следы в мороз — совсем уж рядовая деталь пейзажа.

Ирина Ростиславовна резко поставила чашку.

— Вы хотите сказать, что кто-то ходит там босиком?

— Я хочу сказать, что следы были. Остальное пока оставляю вашей фантазии.

— Чепуха какая-то, — сказал Олег Ростиславович, но неуверенно, потому что чепуха, произнесённая в старом доме у чёрной воды, редко остаётся просто чепухой.

Платон повернулся от шкафа.

— Следы были свежие, но частично присыпанные снегом. Я бы не делал выводов до осмотра места при нормальном свете.

— А вы собираетесь осматривать? — спросила Ирина Ростиславовна.

— Да.

— В каком качестве?

— В человеческом, — ответил Платон спокойно. — Если возле дома, куда нас всех пригласили, кто-то ходит босиком по снегу, мне было бы интересно понять, почему.

Герман снова улыбнулся.

— Как мягко вы формулируете профессиональную привычку подозревать всех живых.

— Мёртвые редко оставляют следы на снегу, — сказал Платон.

Эта фраза должна была прозвучать сухо, почти иронично, но в комнате она задержалась иначе. Возможно, потому, что все вспомнили мокрые отпечатки у моста. Возможно, потому, что слово «мёртвые» в доме Варвары Илларионовны было не абстракцией, а присутствием, ещё не остывшим после похоронных распоряжений. Таисия опустила глаза в чашку. Евгения увидела это и почувствовала, как в ней снова включается тревожное желание защитить девочку от разговора, который взрослые ведут, делая вид, что говорят между собой, но на самом деле бросают слова туда, где им больнее всего отзовется.

— Нина Степановна, — мягко сказала Евгения, — как Таисия перенесла дорогу? Может быть, ей лучше поесть и отдохнуть до вечера.

Нина Степановна, до этого молча рассматривавшая всех с недоверием человека, оказавшегося в комнате, где даже сахарница, кажется, принадлежит к чужому классовому миру, тут же оживилась.

— Конечно, лучше. Я ей с утра толком ничего не дала, потому что в поезде она кусок в горло не брала, потом дорога эта, мост, все смотрят, спрашивают. Тая, допивай чай, пойдём наверх.

— Я хочу увидеть воду, — сказала Таисия.

В комнате снова стало тише.

Нина Степановна устало закрыла глаза.

— Зачем?

— Просто увидеть.

— Ты её уже видела на мосту.

— Не оттуда.

— Тая...

— Можно я выйду ненадолго? — Таисия повернулась не к Нине Степановне, а к Евгении, будто именно она почему-то могла дать не разрешение, а правильную форму этому желанию.

Евгения не ответила сразу. С точки зрения заботы, девочку следовало оставить в тепле, накормить, дать ей отдохнуть, убрать от взрослых разговоров и не усиливать её связь с тревожным объектом. С другой стороны, запрет сейчас только превратил бы протоку в ещё более мощный внутренний магнит, а Таисия, судя по всему, уже жила в мире, где взрослые слишком часто запрещали ей то, что она всё равно переживала внутри. Важно было не то, пойдёт ли она к воде, а то, будет ли она там одна.

— Можно выйти всем вместе, — сказала Евгения. — На несколько минут. До темноты ещё есть время.

— Прогулка к семейной бездне перед оглашением завещания, — пробормотал Герман. — День становится всё лучше.

— Вы можете остаться, — сказала Мирослава.

— И пропустить, как наследница торжественно смотрит на незамерзающую протоку? Нет, это было бы профессиональным преступлением.

— Профессиональным преступлением было бы превратить всё происходящее в спектакль раньше, чем мы поняли, что именно происходит, — сказал Платон.

Герман посмотрел на него с интересом.

— Вы всегда так разговариваете, будто уже составляете протокол?

— Не всегда. Только когда люди слишком стараются казаться зрителями.

Ответ был тихим, но в нём прозвучала сталь. Герман не обиделся, однако улыбка его стала тоньше. Таисия наблюдала за ними почти отстранённо, как наблюдают за взрослыми, которые спорят о правилах игры, не замечая, что игра началась не ими.

Через несколько минут они вышли из дома: Евгения, Платон, Таисия, Нина Степановна, Мирослава, Герман и, чуть позже, Арсений Павлович, который сначала будто не собирался идти, но потом всё же надел пальто и присоединился к ним у крыльца. Ирина Ростиславовна

с братом остались в гостиной, выразив общее мнение, что здравомыслящие люди не ездят за полторы тысячи километров, чтобы затем бродить по снегу перед ужином. Дарья Фоминична проводила вышедших взглядом, но ничего не сказала. Только когда Таисия проходила мимо неё, старая женщина едва слышно произнесла:

— Не подходи к самому краю.

Девочка посмотрела на неё.

— Почему?

Дарья Фоминична сжала губы.

— Потому что вода здесь смотрит снизу.

Нина Степановна всплеснула руками.

— Ну спасибо, успокоили ребёнка.

— Я не ребёнок, — сказала Таисия уже привычно, но без прежней усталости, словно в этом доме её возраст действительно стал не биологическим фактом, а предметом спора между живыми и мёртвыми.

Снаружи холод успел стать плотнее. День не столько темнел, сколько густел, собираясь в углах сада, под ветвями, у подножия каменных ваз, в провалах между сугробами. Снег почти перестал идти, но воздух был наполнен мелкой ледяной пылью, которая садилась на ресницы, на воротники, на волосы и делала лица всех вышедших чуть чужими, припорошенными, словно дом уже начал подготавливать их к своим портретам. От усадьбы к протоке вела узкая дорожка, расчищенная недавно, но не до земли; под ногами хрустел наст, местами проваливался, и Нина Степановна несколько раз хватала Таисию за локоть, хотя та шла ровно и не торопясь.

Сад оказался больше, чем казался из окон. Липовая аллея спускалась к воде плавно, но чем дальше они отходили от дома, тем сильнее менялась тишина. У крыльца ещё были слышны приглушённые звуки усадьбы: закрывающаяся дверь, далёкий голос, стук ведра где-то во дворе. В саду эти звуки быстро исчезли, уступив место другому безмолвию, не пустому, а насыщенному, будто снег, деревья и воздух слушали не людей, а то, что происходило под землёй и под водой. Мирослава шла медленно, оглядываясь на фасад, и Евгения заметила, как её взгляд возвращается к верхним окнам, особенно к тому, за которым находилась детская. Герман всё-таки достал телефон, но не снимал открыто, а держал его в руке, словно готов был в любой момент превратить впечатление в доказательство. Платон шёл чуть впереди, проверяя дорогу, и эта его привычка, возможно, была единственным, что придавало прогулке вид обычной безопасности.

— Вы правда думаете, что следы могли быть подстроены? — спросила Евгения у него, когда они немного отстали от остальных.

— Всё может быть подстроено, пока не доказано обратное.

— Удобная позиция.

— Рабочая.

— Но не всегда человеческая.

Платон посмотрел на неё не обиженно, а внимательно.

— А ваша позиция?

— Я стараюсь не спешить с объяснениями, когда речь идёт о психике. Слишком раннее объяснение иногда закрывает человеку рот.

— Вы говорите о Таисии?

— И о ней тоже.

— А ещё?

Евгения не ответила сразу. Она не собиралась рассказывать Платону о Марине Стекловой, по крайней мере сейчас, на снегу, по дороге к воде, среди людей, каждый из которых мог оказаться либо свидетелем, либо лжецом, либо тем и другим одновременно. Но вопрос задел

точнее, чем она ожидала. Платон умел слушать паузы, и это было неприятно, потому что она привыкла быть той, кто слушает.

— О некоторых ошибках, — сказала она наконец.

— Профессиональных?

— Человеческих. Профессиональные просто легче назвать.

Платон кивнул, не требуя продолжения, и этим неожиданно расположил её больше, чем если бы выразил сочувствие. Сочувствие часто вторгается туда, куда ещё не приглашали; молчание иногда бывает деликатнее.

Протока открылась перед ними внезапно, хотя они знали, что идут именно к ней. Деревья расступились, и между двумя заснеженными берегами легла чёрная вода, узкая, вытянутая, недвижимая в своей тёмной открытости. Она не была широкой, не была бурной, не была красивой в том романтическом смысле, в каком красивы северные реки на фотографиях, но в ней было нечто, заставляющее сразу говорить тише. По краям лежал снег, над водой висел лёгкий пар, почти незаметный, как дыхание спящего, и от этого казалось, что протока жива не движением, а глубиной. Сад, дом, люди, небо — всё могло отражаться в ней, но отражение не складывалось. Вода брала очертания и не возвращала их полностью.

Таисия остановилась за несколько шагов до берега. Нина Степановна тут же встала рядом, но не стала тянуть её назад, возможно, потому что сама не могла отвести взгляда от воды. Герман подошёл чуть левее, поднял телефон, сделал один снимок и, посмотрев на экран, нахмурился.

— Забавно, — сказал он.

— Что? — спросила Мирослава.

— Экран темнеет. Будто экспозиция слетает.

— Или вы снимаете чёрную воду в сумерках.

— Благодарю за рациональность. Она здесь особенно декоративна.

Мирослава не ответила. Она смотрела на противоположный берег, где кусты ольхи стояли густо, почти чёрно, и в их переплетении было что-то похожее на спрятанную решётку. Арсений Павлович остановился дальше всех, у начала дорожки, и Евгения заметила, что он не приближается к воде. Не потому, что холодно или неудобно. Он не хотел. Человек может всю жизнь говорить о родовых преступлениях с ироничным блеском, но тело всё равно помнит места, где когда-то испугалось сильнее слов.

— Почему она не замерзает? — спросила Нина Степановна, и вопрос её прозвучал почти сердито, будто вода нарушала не природный порядок, а её личное право на понятный мир.

— Родники, течение, болотные ключи, — сказал Платон.

— Вы сами в это верите?

— Я верю, что у явления может быть физическая причина, даже если она никого не утешает.

— А местные что говорят? — спросил Герман.

Арсений Павлович ответил за всех:

— Местные обычно говорят меньше, чем знают. Это единственная разумная стратегия рядом с такими домами.

Таисия вдруг сделала шаг ближе к воде. Нина Степановна схватила её за рукав.

— Куда?

— Я не к краю.

— Сказали же не подходить.

— Я слышу.

— Что слышишь?

Таисия медленно повернула голову к ней, и в её лице было столько усталой сосредоточенности, что Нина Степановна сама отпустила рукав, будто испугалась не девочки, а того, что через неё сейчас может прозвучать.

— Не голос, — сказала Таисия. — Так бывает, когда в соседней комнате разговаривают тихо, и ты не разбираешь слов, но понимаешь, что речь о тебе.

Евгения подошла ближе, но не слишком близко, оставляя ей воздух.

— Это чувство появилось сейчас?

— Нет.

— Когда?

— Когда мы переехали мост. А раньше... — Таисия нахмурилась, подбирая слова. — Раньше оно было во сне. Только там я знала, что нужно молчать.

— Почему?

Девочка посмотрела на воду. На мгновение её лицо стало почти чужим, не старше, а как будто глубже, словно через него проступила тень другого выражения.

— Потому что если назвать ребёнка, его найдут.

Нина Степановна резко охнула, но закрыла рот ладонью. Герман опустил телефон. Платон не двинулся, но Евгения увидела, как изменился его взгляд: он услышал не красивую фразу, а возможное свидетельство. Мирослава медленно повернулась к дому, будто в эту секунду между водой, детской комнатой и портретом над лестницей протянулась невидимая линия.

— Какого ребёнка? — спросил Платон.

Таисия моргнула, словно только сейчас поняла, что сказала это вслух.

— Не знаю.

— Это из сна?

— Наверное.

— Ты помнишь сам сон?

Евгения вмешалась тихо, но твёрдо:

— Платон Сергеевич, не сейчас.

Он посмотрел на неё, и на этот раз в их взглядах возник не спор, а столкновение двух необходимых осторожностей. Он хотел удержать свежую фразу, пока она не ушла в защиту и забывание. Она хотела не превращать девочку в источник показаний на морозе у воды, которая и без того явно действовала на неё слишком сильно. Оба были правы, и именно поэтому секунду им понадобилось просто стоять рядом, признавая границу друг друга.

— Хорошо, — сказал Платон. — Не сейчас.

Таисия тихо выдохнула, и Евгения поняла, что девочка слышала в этом «не сейчас» не отказ, а отсрочку, возможно, первую честную отсрочку.

С противоположного берега внезапно донёсся звук. Не голос и не треск ветки, а мягкий всплеск, словно что-то небольшое вошло в воду или поднялось из неё. Все повернулись почти одновременно. На тёмной поверхности расходились круги, медленные, широкие, слишком правильные для случайно упавшего снега. Герман первым поднял телефон, но экран, по его словам, снова потемнел. Платон сделал несколько шагов вдоль берега, внимательно осматривая кусты напротив. Ничего не было видно. Только вода, снег, чёрные ветви и тусклый вечерний воздух.

— Рыба, наверное, — сказала Нина Степановна, но сама себе не поверила.

— Зимой? — спросил Герман.

— А что, зимой рыбы отменяются?

— В такой сцене желательно, чтобы отменялись.

Мирослава вдруг присела у самой кромки снега, но не возле воды, а чуть выше, там, где из-под белого слоя выступал старый камень, почти полностью покрытый мхом и льдом.

— Здесь что-то вырезано, — сказала она.

Платон подошёл к ней. Камень оказался частью низкого бордюра или старой пристани, давно разрушенной и ушедшей под снег. Мирослава провела пальцем по поверхности, стряхивая иней, и показались несколько букв, стёртых, неровных, едва различимых. Платон наклонился, Герман подсветил телефоном, хотя экран капризничал. Видна была только часть надписи: «...не была...»

— Что там? — спросила Нина Степановна.

— Непонятно, — сказал Платон.

Мирослава не согласилась сразу. Она смотрела на буквы как человек, для которого повреждённая поверхность не молчит, а говорит медленно, через следы инструмента, глубину реза, направление руки.

— Это не декоративная надпись. Скорее, кто-то вырезал позже. Не мастер. В спешке или тайно.

— Что там написано? — спросила Таисия.

Мирослава подняла на неё глаза, и Евгения заметила, что реставратор не хочет отвечать. Но Таисия уже смотрела на камень так, будто недостающие буквы были для неё не стёрты, а закрыты.

— «Она не была...» — сказал Герман, опережая всех. — Дальше не видно. Похоронена? Прощена? Счастлива? Пространство для интерпретаций чудесное.

— Замолчите, — сказала Таисия.

Она сказала это негромко, но без детской робости, и Герман, к удивлению Евгении, действительно замолчал. Не из уважения, скорее от неожиданности: в голосе девочки прозвучало не раздражение, а запрет, пришедший как будто не от неё одной.

Ветер усилился. Он прошёл вдоль протоки, поднял с поверхности воды почти невидимую рябь, шевельнул сухие ветви ольхи на другом берегу, и на несколько секунд всем показалось, что среди этих ветвей есть светлое вертикальное пятно. Возможно, ствол берёзы. Возможно, снег на кусте. Возможно, игра сумерек, которые всегда любят человеческое воображение и потому легко подсовывают ему фигуры там, где есть только линии.

Но Арсений Павлович резко отвернулся.

Евгения заметила это. Платон тоже. Сам Арсений, похоже, понял, что выдал себя, потому что тут же достал портсигар, хотя не закурил, только открыл и закрыл его, будто металлический щелчок мог вернуть ему прежнюю ироническую невозмутимость.

— Нам пора в дом, — сказал он. — Здесь холодно.

— Вам холодно или страшно? — спросил Герман, не удержавшись.

Арсений посмотрел на него спокойно, но в этой спокойности не было насмешки.

— Умный человек, Герман Алексеевич, иногда не видит разницы и потому дольше живёт.

Нина Степановна решительно взяла Таисию за руку.

— Всё, хватит. Посмотрели воду. Отличная вода. Чёрная, мокрая, не замёрзла. Теперь назад, пока у кого-нибудь воспаление лёгких не началось.

Таисия не сопротивлялась. Но прежде чем уйти, она ещё раз посмотрела на камень с обрывком надписи, потом на воду, потом на противоположный берег, где светлое пятно уже исчезло или стало частью снега. Евгения шла рядом с ней и чувствовала, что разговор у протоки не закончился, а только вошёл в молчание, где будет дозревать до ночи.

Когда они возвращались к дому, окна первого этажа уже горели тёплым жёлтым светом. Издалека усадьба могла бы показаться почти гостеприимной: огонь за стеклом, снег на крыше, дым из трубы, люди, идущие по садовой дорожке к ужину. Но чем ближе они подходили, тем сильнее становилось ощущение, что этот свет не столько приглашает, сколько удерживает внутри себя что-то, чему нельзя дать выйти наружу. На верхнем этаже, в окне детской, на мгновение мелькнуло движение. Таисия подняла голову так резко, что Евгения тоже посмотрела туда.

В окне никого не было.

Только стекло, тёмное от вечернего неба, и слабый отблеск снега.

— Что ты увидела? — спросила Евгения тихо.

Таисия не сразу ответила.

— Не знаю.

— Человека?

— Нет.

— Тогда что?

Девочка шла несколько шагов молча, потом сказала:

— Как будто кто-то отошёл от окна, когда понял, что я смотрю.

Евгения не стала разубеждать. Не стала уточнять. Не стала предлагать разумное объяснение отражением, веткой, движением света. Она только кивнула, и это кивок Таисия заметила с такой внутренней благодарностью, что ей стало почти больно. Возможно, именно так начинается доверие: не с того, что тебе верят во всё, а с того, что не торопятся отнимать у тебя твою реальность.

В холле их встретило тепло, запах супа, воска и старого дерева. Дарья Фоминична стояла у лестницы, будто ждала именно момента их возвращения. Увидев Таисию, она быстро посмотрела на её обувь, на подол куртки, на руки, словно проверяла, не принесла ли девочка с протоки что-то, чего нельзя было приносить в дом.

— Ужин через полчаса, — сказала она. — Нотариус задерживается. Дорогу у посёлка перемело, но к ночи должен быть.

— К ночи? — недовольно переспросила Ирина Ростиславовна, вышедшая из гостиной. — То есть завешание сегодня могут не огласить?

— Варвара Илларионовна распорядилась ждать нотариуса, — ответила Дарья Фоминична.

— Варвара Илларионовна распорядилась многим, как я вижу, — сказала Ирина Ростиславовна. — Очень удобно распорядиться после смерти, когда никто уже не может уточнить подробности.

Дарья Фоминична подняла на неё глаза.

— Она как раз всё уточнила.

В этой фразе было нечто такое, что Ирина Ростиславовна, уже готовая продолжить, передумала. Олег Ростиславович кашлянул и спросил, работает ли в доме интернет. Герман тихо сказал, что это самый современный вопрос среди древних проклятий, и получил от Мирославы взгляд, после которого снова благоразумно замолчал.

Таисия поднялась к себе раньше ужина, сославшись на усталость, и Нина Степановна пошла с ней, бормоча, что всем им надо было остаться в Москве или хотя бы в гостинице при станции, где, может, и тараканы, зато без портретов. Евгения хотела предложить проводить их, но остановилась: чрезмерная забота иногда выглядит как контроль. Вместо этого она осталась в холле, наблюдая, как девочка поднимается по лестнице. На середине лестничного пролёта Таисия вдруг задержалась у большого портрета, закрытого тенью, и подняла голову.

— Здесь кто-то другой, — сказала она.

Мирослава, стоявшая внизу, сразу повернулась.

— Что ты имеешь в виду?

Таисия смотрела на портрет.

— Сверху одно лицо. Под ним другое.

В холле стало тихо.

Мирослава медленно подошла к первой ступени.

— Ты видишь это?

— Нет. Знаю.

Нина Степановна потянула её за руку.

— Пошли уже, художники потом разберутся.

Таисия послушно пошла дальше, но Мирослава ещё долго стояла у лестницы, глядя на портрет. Затем попросила Дарью Фоминичну принести лампу или хотя бы разрешить включить верхний свет. Старая женщина колебалась.

— Варвара Илларионовна не велела трогать портрет до оглашения завещания.

— Я не собираюсь трогать. Я хочу посмотреть.

— Смотреть можно, — сказала Дарья Фоминична после паузы. — Но не сегодня ночью.

— Почему?

Дарья Фоминична не ответила. Она только посмотрела в сторону верхнего этажа, где уже исчезли Таисия и Нина Степановна, и тихо произнесла:

— Потому что сегодня дом и так слишком много показывает первым.

Евгения услышала в этой фразе прямой отзвук письма Варвары Илларионовны и почувствовала, как холод от протоки, казалось бы оставшийся снаружи, снова коснулся её изнутри. Не доверяйте тому, что дом покажет первым. Но что именно дом уже показал им за эти несколько часов: следы у моста, открытую дверь, детскую комнату, слово на стекле, надпись у воды, невидимое движение в окне, портрет с другим лицом под поздним слоем? Или всё это было только первым кругом, внешней коркой, под которой пряталась настоящая память, ещё более тёмная и плотная?

Ужин прошёл в большой столовой, где длинный стол был накрыт для всех, а место во главе, очевидно принадлежавшее Варваре Илларионовне, осталось пустым. Никто не предложил убрать лишний прибор. Никто даже не спросил, зачем он стоит. И эта молчаливая договорённость оказалась выразительнее любых траурных речей. Пустое место хозяйки управляло разговором сильнее живых: Ирина Ростиславовна говорила тише, Олег Ростиславович слишком часто поглядывал на часы, Герман почти не шутил, Мирослава ела мало и думала о портрете, Платон — о следах и фразе Таисии, Евгения — о Марине Стекловой и о том, что девочка наверху, возможно, сейчас лежит в комнате, где кто-то когда-то пытался не написать имя ребёнка.

Арсений Павлович, сидевший напротив Евгении, вдруг сказал:

— Интересно, что Варвара Илларионовна оставила своё место накрытым.

— Возможно, это сделала Дарья Фоминична, — ответила Евгения.

— Возможно. Но в этом доме даже чужие руки часто выполняют чужую волю.

— Вы говорите так, будто хорошо знаете дом.

Он усмехнулся.

— Я знаю семьи. Дома честнее. Они хотя бы не притворяются, что забыли, где у них трещины.

— А вы? — спросила Евгения.

— Что я?

— Притворяетесь, что забыли?

Арсений Павлович посмотрел на неё с новым интересом. В этот момент она заметила на его правой руке кольцо, почти скрытое манжетой: тяжёлое, старое, с потемневшим гербом. Два зверя держали щит, на котором тонкая неровная линия могла быть рекой, трещиной или протокой. То же изображение было на печати письма.

Он поймал её взгляд и не убрал руку.

— Иногда, Евгения Аркадьевна, забывание — единственная форма приличия, которую оставляет нам происхождение.

— А если приличие построено на преступлении?

— Тогда рано или поздно приезжает следователь, врач, реставратор, журналист и девочка, которая всё портит одним своим существованием.

Он сказал это тихо, почти любезно, но Евгения почувствовала в его словах не шутку, а знание. Она не успела ответить: в коридоре послышались шаги, и в столовую вошёл Ферапонт Егорович. Лицо его было мрачным.

— Нотариус не приедет сегодня, — сказал он. — Мост у посёлка занесло лесовозом, дорогу чистить будут утром.

— То есть мы заперты здесь до утра? — спросил Герман.

— Не заперты. Просто дороги нет.

— Удивительно тонкое различие.

Платон поднял голову.

— Связь?

— Плавает. У окна в западном коридоре ловит, если повезёт.

Ирина Ростиславовна резко отодвинула тарелку.

— Я считаю это совершенно недопустимым. Нас вызвали сюда, разместили в доме с сомнительной безопасностью, нотариуса нет, связь отсутствует, дороги нет, а теперь выясняется, что завещание, ради которого мы все приехали, неизвестно когда будет оглашено.

— Утром, — сказал Ферапонт Егорович. — Если Бог даст.

— А если не даст? — спросил Герман.

Старик посмотрел на него без выражения.

— Тогда позже.

Эта простая северная логика, в которой человеческие планы уступали снегу, дороге, мосту и воле покойной хозяйки, окончательно вывела Ирину Ростиславовну из равновесия, но спорить было не с кем. Дом не оправдывался. Дорога не объяснялась. Варвара Илларионовна, даже умерев, продолжала распоряжаться расписанием живых.

После ужина все разошлись не сразу. Кто-то пытался поймать связь, кто-то искал курительную комнату, кто-то уточнял, где туалет и горячая вода, Герман всё же сделал несколько снимков столовой, пока Дарья Фоминична не посмотрела на него так, что он убрал телефон без комментариев. Евгения поднялась наверх проверить, как Таисия, но у двери детской остановилась: изнутри доносился голос Нины Степановны, ворчливый, успокаивающий, почти домашний, и тихий ответ девочки. Это было хорошо. Живой голос рядом с ребёнком в старом доме — иногда лучший способ защиты, чем любые рациональные объяснения.

Она уже собиралась уйти, когда услышала другой звук.

Не из детской. Из коридора дальше, за поворотом, там, где тянулось закрытое крыло. Сначала ей показалось, что это скрип досок от перепада температуры. Потом звук повторился: медленный, влажный, очень тихий шаг. Затем ещё один. Евгения замерла, чувствуя, как все профессиональные объяснения выстраиваются внутри неё слишком быстро, почти поспешно: старые трубы, капающая вода, дерево, мыши, слуховая иллюзия на фоне усталости. Она даже успела сделать вдох, чтобы вернуть телу обычную опору.

Но в этот момент дверь детской открылась.

На пороге стояла Таисия, бледная, в свитере, с распущенными волосами. За её спиной Нина Степановна что-то перекладывала в чемодане и не видела коридора.

Девочка посмотрела на Евгению, потом туда, откуда донёсся звук.

— Она идёт не к нам, — сказала Таисия тихо.

Евгения почувствовала, как холод медленно поднимается от пола, хотя в коридоре было натоплено.

— Кто?

Таисия ответила не сразу. Она слушала.

— Та, которая ищет ребёнка.

И где-то в глубине закрытого крыла, за поворотом, в темноте старого дома, снова послышался влажный шаг.

## Глава 6

### Оглашение, которого ждали мёртвые

Евгения Аркадьевна потом не раз вспоминала ту минуту в коридоре второго этажа, когда дом, казалось, перестал быть домом в привычном человеческом смысле и стал чем-то вроде огромного, тёмного слуха, обращённого внутрь себя. Она стояла у двери детской, рядом с Таисией, и слышала влажные шаги за поворотом, в том крыле, которое Дарья Фоминична называла закрытым так, словно слово «закрытое» могло что-то объяснить, хотя на самом деле только подчёркивало беспомощность всякого замка перед тем, что годами живёт в самой планировке, в стенах, в привычке обходить определённые двери и не спрашивать, почему в доме, рассчитанном на большую семью, столько комнат, куда никто не входит.

Свет в коридоре был приглушённый, желтоватый, исходивший от старых бра в виде свечей, и от этого все предметы казались не освещёнными, а слегка проявленными из темноты: длинная ковровая дорожка с потёртым узором, чёрные линии дверных проёмов, холодный блеск ручек, стекло окна в конце коридора, за которым лежала ночь и чуть белел снег на ветвях. Евгения несколько секунд не двигалась, потому что разум требовал проверить источник звука, а тело, более древнее и честное, настойчиво предлагало не делать шага туда, где дом сам не пригласил. Она уже почти сказала Таисии вернуться в комнату, но девочка опередила её, тихо прикрыв за собой дверь, чтобы Нина Степановна, всё ещё возившаяся с вещами, не услышала и не вышла в коридор со своим громким, спасительным, но сейчас совершенно неуместным здравым смыслом.

— Не надо за ней идти, — сказала Таисия.

Евгения посмотрела на неё. Девочка стояла босиком, в шерстяных носках, слишком тонкая для этого коридора, для этих портретов и теней, но в её лице не было паники. Было напряжение, почти болезненная собранность, словно она не боялась происходящего, а пыталась выдержать его, не дать ему пройти через себя слишком глубоко.

— Ты слышишь шаги? — спросила Евгения так же тихо, стараясь не вкладывать в вопрос ни подтверждения, ни сомнения.

— Да.

— Ты видела кого-нибудь?

Таисия покачала головой.

— Она не хочет, чтобы её видели. Пока.

Это «пока» прозвучало так естественно, что у Евгении стало холодно между лопатками. Врачебная часть сознания всё ещё держалась за возможные объяснения: внушение, усталость, акустика старого дома, скрип половиц, вода в трубах, совпадение услышанного с ожидаемым, подростковая восприимчивость, усиленная дорогой, смертью хозяйки и давлением взрослых. Но ни одно из этих объяснений не отменяло того, что звук повторился ещё раз, дальше, глубже, за поворотом, и на этот раз к нему примешался едва различимый шорох ткани, мокрой или тяжёлой, задевающей пол.

Дверь одной из гостевых комнат открылась, и в коридор вышел Платон Сергеевич. Он был без пиджака, в тёмном свитере, с расстёгнутым воротом рубашки, но даже в этом домашнем, почти случайном виде сохранял ту внутреннюю служебную собранность, которая у некоторых людей не снимается вместе с верхней одеждой. Он посмотрел сначала на Евгению, потом на Таисию, потом в темноту коридора, откуда доносился звук, и не стал задавать лишних вопросов. Именно это, как ни странно, успокоило Евгению больше всего: он тоже слышал.

— Нина Степановна в комнате? — спросил он.

— Да, — ответила Евгения.

— Таисии лучше вернуться к ней.

— Я не пойду, — сказала Таисия.

Платон перевёл взгляд на девочку, не жёстко, но внимательно.

— Почему?

— Потому что она не к нам идёт. Если я уйду, вы подумаете, что всё закончилось.

Платон несколько секунд молчал. Внизу, где-то под лестницей, раздался приглушённый мужской голос, потом смех Германа, оборвавшийся слишком быстро, будто и в нижней части дома люди начали чувствовать, что ночь перестала быть обычной. Платон подошёл к окну, посмотрел на тёмное стекло, затем вернулся взглядом к коридору.

— Я посмотрю, — сказал он.

— Не надо, — повторила Таисия, и теперь в её голосе прозвучал страх. — Если пойдёте за ней, она обернётся.

Слова были детскими и одновременно слишком старыми, чтобы принадлежать только ей. Евгения хотела вмешаться, удержать Платона, но он уже сделал несколько шагов вперёд, осторожно, без демонстративной храбрости. Он двигался так, как двигаются люди, привыкшие входить в помещения, где может быть опасность: не быстро, не крадучись, без лишнего шума, но с полной готовностью остановиться или отступить. Евгения шла за ним на расстоянии, хотя понимала, что поступает неразумно; за ней, почти неслышно, двинулась Таисия.

У поворота коридора свет из бра почти не доставал до пола. Там начиналось другое крыло, более узкое, холодное, с дверями, закрытыми на старые замки, и воздух в нём пах не воском и не пылью жилых комнат, а камнем, сыростью, затхлой тканью и чем-то металлическим, как пахнут старые ключи, долго лежавшие в ящике. На полу, в полосе слабого света, темнели следы.

Они были маленькие, влажные, босые.

Евгения услышала собственное дыхание, слишком ровное, потому что она заставила его быть ровным. Платон присел, не касаясь следов, и несколько секунд смотрел на них так, словно именно эта конкретность была для него важнее всякой мистики. Следы начинались не от лестницы, не от окна, не от ближайшей двери. Они будто появлялись из самой темноты коридора, проходили через свет и дальше исчезали в закрытом крыле, где ни один человек, по словам Дарьи Фоминичны, не жил и куда никто вечером не ходил.

— Свежие, — сказал Платон.

— Вода? — спросила Евгения, хотя вопрос был почти бессмысленным.

Он поднял на неё глаза.

— Похоже.

Таисия смотрела не на следы, а дальше, в тьму. Лицо её побледнело ещё сильнее, но она не отступала.

— Она ищет не там, — прошептала девочка.

— Что ищет? — спросил Платон.

Таисия медленно подняла руку и коснулась стены, словно пыталась почувствовать что-то через холодные обои.

— Комнату. Но её закрыли не этой дверью.

В этот момент снизу донёсся резкий голос Нины Степановны:

— Тая? Ты где?

Таисия вздрогнула, и это простое, человеческое движение разрушило наваждение сильнее, чем любой свет. Через несколько секунд в коридоре появились Нина Степановна, Дарья Фоминична и Герман с телефоном в руке; за ними, чуть позже, поднялись Мирослава и Арсений Павлович. Дом будто сам собрал свидетелей, но сделал это слишком поздно: к тому времени влажные следы уже начали тускнеть, впитываясь в старые доски, и от их чёткой формы оставались только тёмные пятна, похожие на случайную сырость.

— Господи, да что вы тут устроили? — Нина Степановна бросилась к Таисии, схватила её за плечи и прижала к себе так резко, что девочка поморщилась. — Я на минуту отвернулась, а она уже по коридорам ходит. Вы взрослые люди или кто? Вы зачем её таскаете?

— Никто её не таскал, — сказал Платон.

— Ага, сама пошла, значит, потому что ей тут так спокойно. Тая, в комнату. Немедленно.

Таисия не спорила. Она позволила увести себя, но перед тем, как исчезнуть за дверью детской, обернулась к Евгении и посмотрела на неё так, будто просила не объяснять увиденное слишком быстро. Евгения едва заметно кивнула. Она не знала, что сможет сделать с этим обещанием, но уже понимала: если сейчас сказать «усталость», «нервы», «старый дом», она потеряет не только доверие девочки, но и какую-то очень важную возможность услышать то, что в этом доме раньше не слушали.

Герман, присевший у пятен на полу, тихо свистнул.

— Итак, господа, у нас есть босые мокрые следы, исчезающие в закрытом крыле, девочка, которая заранее знает, куда они ведут, и покойная хозяйка, собравшая всех нас именно в ночь, когда нотариус не смог добраться. Кто-нибудь ещё считает, что это юридическое мероприятие?

— Уберите телефон, — сказал Платон.

— Я ничего не снимаю.

— Тогда тем более уберите. Вы мешаете.

Герман поднял руки в примирительном жесте, но взгляд его блестел. Он был испуган, Евгения это видела, однако испуг не ослаблял его интереса, а делал его острее, почти хищнее. Для него страх был материалом, пока не становился личным.

Мирослава подошла к стене, возле которой стояла Таисия, и провела пальцами по обоям.

— Здесь есть шов, — сказала она.

Дарья Фоминична резко подняла голову.

— Никакого шва нет.

— Есть. Старый. Обои переклеивали поверх чего-то. Возможно, раньше здесь была дверь или ниша.

— Здесь всегда была стена.

— «Всегда» — самое ненадёжное слово в доме с поздними слоями, — тихо ответила Мирослава.

Арсений Павлович, стоявший чуть поодаль, выглядел почти спокойно, но Евгения заметила, что он держит правую руку в кармане и большим пальцем, вероятно, касается фамильного кольца. Его лицо, освещённое сбоку жёлтым светом, казалось старше, чем днём у протоки.

— Варвара Илларионовна не любила это крыло, — сказал он.

Дарья Фоминична посмотрела на него быстро и неприязненно.

— Варвара Илларионовна много чего не любила, Арсений Павлович.

— Особенно комнаты, которые помнили лишнее.

— Вам лучше не говорить о том, чего вы не знаете.

— А вам, Дарья Фоминична, лучше не делать вид, что вы не знаете больше всех нас.

Старая женщина побледнела, но не отступила. В её лице появилось выражение человека, который всю жизнь молчал не от глупости и не от трусости, а потому что молчание было поручением. Евгения подумала, что Варвара Илларионовна, умирая, оставила в этом доме не только завещание. Она оставила людей, связанных обещаниями, каждый из которых теперь должен был решить, что страшнее: нарушить волю мёртвой или продолжать исполнять её слишком точно.

— Ночью здесь ходить не надо, — сказала Дарья Фоминична наконец. — Никому.

— Почему? — спросил Платон.

— Потому что дом ночью не для гостей.

— А для кого?

Дарья Фоминична не ответила. Она повернулась и пошла к лестнице, и никто, даже Герман, не остановил её вопросом. Бывают уходы, после которых догонять человека неприлично, потому что очевидно: ещё одно слово — и он либо скажет слишком много, либо сломается.

Ночь после этого не стала спокойнее, но и не взорвалась событием. Дом будто снова закрылся, позволив каждому унести в свою комнату собственную версию услышанного. Евгения долго не могла уснуть в синей гостевой, где стены были обиты выцветшей тканью, а над кроватью висела акварель с изображением летнего сада, такого нежного и светлого, что он казался не воспоминанием о доме, а его тщательно изготовленным алиби. Она лежала, слушала редкие звуки: скрип балки, далёкое потрескивание печи, шаги где-то внизу, возможно Ферапонта Егоровича, осторожный шорох веток по стеклу. Несколько раз ей казалось, что за стеной кто-то тихо плачет, но она не могла понять, человек это, ветер или собственная память, вытаскивающая из глубины голос Марины Стекловой.

Под утро Евгения всё-таки задремала, и ей приснился кабинет в Москве, но вместо пациентского кресла напротив стояла маленькая детская кровать с белым покрывалом, а на столе лежал лист бумаги с одним словом, написанным детским почерком: «Вернулась». Она проснулась до рассвета с тяжёлым сердцем и сразу поняла, что больше не уснёт.

Утро в Заболотье было светлым лишь по сравнению с ночью. За окнами стояла серая, плотная белизна, снег за ночь усилился и теперь лежал на садовых дорожках новым слоем, стирая вчерашние следы, как будто дом получил возможность переписать собственные улики раньше, чем Платон успел их осмотреть. В коридоре пахло кофе, дымом и свежим хлебом. Этот запах показался Евгении почти неправдоподобно домашним, и оттого тревога стала ещё тоньше: страшнее всего старые дома умеют пугать не тогда, когда скрипят и темнеют, а когда утром подадут завтрак так, словно ночью ничего не произошло.

В столовой уже собрались почти все. Ирина Ростиславовна сидела с выражением женщины, которая плохо спала и теперь намерена предъявить это окружающим как доказательство их общей вины. Олег Ростиславович изучал телефон у окна, время от времени поднимая его выше в надежде поймать связь. Герман пил кофе, делая заметки в маленьком блокноте, и был непривычно молчалив. Мирослава рассматривала потолочную роспись, едва заметную под поздней побелкой. Арсений Павлович листал книгу, но взгляд его не двигался по строкам. Платон стоял у окна, и по тому, как он смотрел на занесённый двор, Евгения поняла: он уже был у моста или пытался туда выйти, но снег уничтожил часть того, что он хотел проверить.

— Доброе утро, — сказал Герман, когда она вошла. — Хотя в этом доме словосочетание звучит несколько самонадеянно.

— Нотариус приехал? — спросила Евгения.

— Почти, — ответил Олег Ростиславович с раздражением. — Машина в пути. Если, конечно, это не очередная драматическая отсрочка, предусмотренная покойной.

— Нотариус выехал из посёлка двадцать минут назад, — сказал Платон. — Ферапонт Егорович ездил встречать его на поворот. Дорогу расчистили частично.

— Значит, сегодня мы наконец узнаем, ради чего все здесь мерзнем, — произнесла Ирина Ростиславовна.

— Не только ради чего, — тихо сказала Мирослава, всё ещё глядя на потолок. — Ради кого.

Ирина Ростиславовна посмотрела на неё с раздражением, но промолчала. Таисия вошла в столовую через несколько минут вместе с Ниной Степановной. Девочка выглядела уставшей, но не испуганной. Наоборот, в ней появилась какая-то странная внутренняя тишина, как у человека, который после первой ночи в опасном месте понял, что страх не убил его, а значит, теперь с ним можно жить рядом. Она села рядом с Ниной Степановной, но взгляд её почти сразу поднялся к пустому месту во главе стола.

— Тая, ешь, — прошептала Нина Степановна.

— Она здесь сидела? — спросила Таисия, не понижая голоса.

Разговоры стихли.

— Кто? — осторожно спросила Евгения.

— Варвара Илларионовна.

Дарья Фоминична, ставившая на стол тарелку с сырниками, ответила вместо всех:

— Да. Всегда.

— Даже когда уже не могла?

Старая женщина медленно поставила тарелку.

— Последние месяцы ей накрывали в спальне.

— А место оставляли?

Дарья Фоминична посмотрела на пустой прибор во главе стола.

— По её распоряжению.

— Она знала, что мы будем смотреть туда, — сказала Таисия.

Ирина Ростиславовна не выдержала.

— Простите, но, может быть, мы перестанем воспринимать каждую фразу этой девочки как пророчество? Она приехала в непривычное место, наслушалась ваших же разговоров, теперь фантазирует, а все почему-то считают своим долгом поощрять это.

Нина Степановна резко повернулась к ней.

— Она не фантазирует ради вашего развлечения.

— Я и не развлекаюсь, поверьте.

— Тогда не трогайте её.

В голосе Нины Степановны прозвучало столько грубой, неподдельной защиты, что Таисия за утро посмотрела на неё с мягкостью. Евгения заметила этот взгляд и подумала, что среди всех странностей, завещаний, следов и портретов именно эта простая связь может стать для девочки единственной настоящей опорой.

Спор прервал звук подъезжающей машины. Все почти одновременно повернулись к окнам. Во двор въехал тёмный автомобиль, весь покрытый грязным снегом; из него вышли Ферапонт Егорович и полный мужчина в длинном пальто, с кожаным портфелем, который он держал слишком крепко, словно вез не документы, а что-то хрупкое и опасное. Нотариус оказался человеком лет пятидесяти пяти, с аккуратной бородкой, утомлённым лицом и глазами, в которых привычная профессиональная сухость плохо скрывала недовольство обстоятельствами. Представился он как Константин Львович Бестужев, и фамилия его, хотя и была короче многих собравшихся, прозвучала в холле достаточно весомо, чтобы Ирина Ростиславовна немного успокоилась: наконец-то в дом вошёл представитель порядка, печати, процедуры, бумаги, всего того, что должно было оттеснить ночные шаги в область глупых страхов.

Однако сам Константин Львович выглядел так, будто порядок ехал сюда через метель не по своей воле и уже начал сомневаться, стоит ли ему оставаться. Он тщательно отряхнул снег с пальто, отказался от чая, попросил сразу провести его в кабинет Варвары Илларионовны и, прежде чем подняться наверх, несколько секунд смотрел на лестницу с тем выражением, с каким человек узнаёт место, где однажды получил неприятное известие.

— Вы уже бывали здесь? — спросил Платон.

Нотариус повернулся к нему.

— По служебным делам.

— Давно?

— Достаточно, чтобы помнить планировку.

Ответ был вежливым и закрытым. Платон не стал настаивать, но Евгения видела, что он снова запомнил паузу.

Кабинет Варвары Илларионовны находился на первом этаже, в глубине левого крыла, и был, пожалуй, самой живой комнатой дома, хотя хозяйка умерла. Здесь всё ещё ощущалось

её недавнее присутствие: кресло у письменного стола стояло слегка отодвинутым, на подлокотнике лежал тёмный плед, на столе — лупа, серебряный нож для бумаг, стопка писем, чернильница, которой, возможно, пользовались уже скорее из упрямства, чем по необходимости, и маленькие часы под стеклянным колпаком, остановившиеся на времени, которое никто не решился исправить. На стене за столом висела карта усадебных земель, пожелтевшая, с пометками красным карандашом. Евгения сразу заметила тонкую извилистую линию протоки. Она была обозначена не чёрным, как на современных картах, а густо-синим, почти тёмным, и казалась на бумаге не природной границей, а раной.

Все разместились не сразу. В кабинете оказалось тесно для такого количества людей, но Константин Львович настоял, чтобы присутствовали все, указанные в первом распоряжении Варвары Илларионовны, включая Таисию и Нину Степановну как сопровождающую. Ирина Ростиславовна хотела возразить по поводу «ребёнка на юридической процедуре», но нотариус посмотрел в документы и сухо сообщил, что это не его пожелание, а прямая воля наследодательницы.

Таисия сидела в кресле у книжного шкафа, положив руки на колени. Нина Степановна стояла за её спиной, как охрана, которую никто не назначал, но все приняли. Евгения села рядом с Мирославой. Платон остался у окна. Герман занял место у стены, блокнот держал в руке, но пока не писал. Арсений Павлович устроился так, чтобы видеть и нотариуса, и Таисию. Остальные наследники расселись с выражением людей, которые готовы терпеть неудобство ради ближайшего выяснения имущественной истины.

Константин Львович открыл портфель. Звук щёлкнувших замков показался в тишине слишком громким. Он достал папку, проверил печати, разложил листы на столе, надел очки и, прежде чем начать, посмотрел на пустое кресло Варвары Илларионовны, словно ждал от него разрешения.

— Я обязан предупредить, — сказал он, — что завещательное распоряжение Варвары Илларионовны Вельяминовой-Заболотской составлено с соблюдением всех необходимых формальностей, заверено в установленном порядке, а отдельные условия, которые могут показаться присутствующим необычными, тем не менее не противоречат закону, насколько это возможно в рамках наследственного права. Прошу выслушать текст полностью и воздержаться от комментариев до окончания оглашения.

— Необычные условия, — тихо повторил Герман. — Вот теперь действительно доброе утро.

Нотариус сделал вид, что не услышал, и начал читать.

Сначала всё было почти ожидаемо. Варвара Илларионовна перечисляла имущество: усадебный дом Заболотье с прилегающими постройками, земельные участки, архив, библиотеку, предметы искусства, банковские счета, доли в каких-то старых семейных активах, о существовании которых Ирина Ростиславовна, судя по выражению лица, не знала, но мгновенно начала мысленно оценивать. Голос нотариуса был ровным, сухим, но сама материя перечисляемого постепенно меняла воздух в кабинете. Дом, который ещё утром казался пугающей декорацией, превращался в юридическое тело, состоящее из комнат, прав, бумаг, долгов, ценностей и обязательств. То, что ночью шло по коридору мокрыми ногами, теперь должно было быть вписано в порядок наследования.

Потом Константин Львович перевернул страницу, и его голос стал чуть ниже.

— Основным наследником усадьбы Заболотье, семейного архива Вельяминовых-Заболотских, а также всех документов, писем, дневников, портретов, предметов, находящихся в закрытом хранении, и прав на дальнейшее распоряжение ими наследодательница назначает Таисию Серг

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.